

К 1440193

Л.Г. КАЛАЧЁВА

**ВОЛОГОДСКАЯ
НИВА**

Л.Г. КАЛАЧЁВА

ВОЛОГОДСКАЯ НИВА

Вологда
2004

Калачёва Л.Г. Вологодская нива. - Вологда , 2004.- 80 с.

В книге повествуется о достоверных событиях, в которых отразились духовные пути русского человека к Богу в трагической истории двадцатого века. Герои рассказов, наши земляки-вологжане, не утратили православных корней и стремления к истине, добру, любви.

Автор книги - Людмила Григорьевна Калачёва (Яцкевич), доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Вологодского педагогического университета. Она является автором-составителем словаря «Народное слово в произведениях В.И. Белова», «Поэтического словаря Н.А. Клюева» и других книг и статей по русскому языкознанию.

Вот вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то; иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро возшло, потому что земля была неглубока. Когда же возшло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его; иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать.

Мф. 13: 3-8.

ОБЕТ

*Вы – соль земли.
(Мф., 5:13)*

Шёл беспокойный 1905 год. Второе лето подряд было дождливо и холодно. Деревня Высоково, хоть и стояла на высоком месте, бедствовала от длительной непогоды. В полях и на огородах ничего не росло. Многие деревенские мужики уходили «на суда», как в тех местах принято было выражаться, то есть нанимались матросами и грузчиками на пароходы и баржи, плавающие по Шексне, по всей Мариинской системе.

Семье Голубевых тоже, как и всем в деревне, жилось в эти годы несладко. Родители выбивались из сил, чтобы хоть как-то прокормить своих детей. Но никогда они не роптали на Бога, как это бывало в иных семьях. Правда, до беспорядков, как в других местах России, в этих краях дело не доходило. Зимогоров, то есть бродяг и бездельников, было мало. Народ здесь жил в основном тихий и трудолюбивый.

Семья Голубевых отличалась особой набожностью. Хоть и пустовато было в доме – одни столы да лавки, но в красном углу светились старинные иконы, свято соблюдались все православные праздники и обычаи. И вот однажды в воскресенье, помолившись всей семьёй в церкви, пришли они домой. Отец с матерью были как-то по-особенному торжественны и сосредоточенны. Собрали они всю семью за столом и объявили свою родительскую волю: старшей дочери Наталии - идти в монастырь. По благословению священника, такой обет дали они Господу Иисусу Христу ради того, чтобы вымолить у Бога благодатную жизнь для деревни. «Много монастырей на Руси, - сказали они, - но ни в одном из них нет людей из нашей деревни, нет того, кто бы дённо и ночью молился за нас, грешных, и за всю Русь».

Дело непривычное и для тех далёких времён. Как это

так? Не по своей, а по родительской воле в монастырь идти! По своей-то воле Наталья уже собралась было замуж за Алексея, а не в монастырь. А было ей тогда шестнадцать лет.

Прошла неделя в несложных сборах, поскольку и собирать-то особенно нечего было. Запряг отец лошадь. С тихими слезами села в телегу Наталья, и тронулись в путь по извивающейся в широких полях и перелесках дороге – в сторону пристани на реке Шексне.

Алексей, бледный, тоже с тихими слезами на глазах, долго стоял на своём крылечке и взглядом провожал отъезжающих, расставаясь навеки со своей невестой ... Вот и скрылась повозка за поворотом дороги. Алексей взбежал по лестнице на чердак и ещё оттуда пытался разглядеть из окна что-то в дали полей. Деревня стояла на возвышенности, и из чердачного окна открывались необъятные и печальные в ненастную погоду просторы, в которых растворилась его любовь. Он медленно спустился с чердака, пошёл на сеновал и пролежал там почти неделю, не обращая внимания на угрозы и брань своих родственников. Но надо сказать, все в деревне как-то с уважением отнеслись к его горю. Никому и в голову не приходило посмеяться над его причудами. А вскоре все об этом забыли.

Наталью привезли в Ярославль. Отцу удалось устроить её послушницей в один из женских монастырей. И потянулись, а потом побежали и даже полетели дни и ночи в новом месте, среди новых людей и как будто в новом летоисчислении.

Военные и предвоенные бури внешнего мира мало волновали испокон веков устоявшийся монастырский быт. Здесь была своя – невидимая брань. В те годы в монастыре, где стала жить Наталия, оказалось довольно много таких же, как и она, молодых и духовно неопытных девушек. Но строгая и справедливая игуменья, смирение и терпение послушниц делали своё дело. Главное – была у них наивная, детская вера в своего Небесного Жениха, Господа Иисуса Христа.

Эта вера постепенно возрастала, преодолевая страдания любви земной – разлуки с родными и любимыми. А страдания эти поначалу были, казалось, непереносимыми. Бывали и такие случаи, когда молодая послушница убегала из монастыря к своему земному избраннику.

И вот наступил 1917 год. Двенадцать лет, проведённые в монастыре, постриг, сделали своё дело. Это было уже другое существо – такое же кроткое и смиренное, как и раньше, только эти кротость и смирение были уже одухотворёнными, и потому превратились в невидимую, но могучую силу. *«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное».*

Много было таких скромных монахинь по русским монастырям в те годы. Духовные плоды созрели. Начиналось время жатвы.

Смерч революции разнёс Христовых сестёр по земле русской в разные её концы. Многие из них удостоились принять мученическую кончину за веру православную. Наталья с несколькими сёстрами-монахинями вернулась в родную деревню. Встретили их сначала тепло и уважительно. Все они были хорошими мастерицами-рукодельницами, поэтому без работы и хлеба не сидели... Пока у самих крестьян хлеб был. Потом начались тяжёлые годы богоборчества и раскрестьянивания.

Затаились Наталья с сёстрами от внешнего мира. И начался монашеский подвиг, едва ли посильный для многих из нас. Сколько было ночных молитвенных бдений, сколько слёз пролито за ближних и дальних, и даже за тех слепых соотечественников, разоряющих Русь. Поняла Наталья в те молитвенные часы и дни весь смысл родительского обета перед Богом. Вот для чего было ей даровано отречение от земной любви и земной радости. Но её кроткая душа не возгордилась, она даже не осознала сама в себе, что стала она Ангелом-Хранителем родной деревни. В других деревнях и иконы уже снимали, и в церковь, даже когда она еще не закрыта была, забыли ходить. А у них в Высокове долгое

время всё оставалось по-прежнему. Когда закрыли храмы в ближайших деревнях, начали тайно ходить к Наталье и просить её молитв во всяких бедах, окрестить младенцев, почитать псалтырь по умершему. Много её земляков, родившихся в те годы, гуляют по всему белому свету, освящённые её крещением и охраняемые её святыми молитвами. Жаль только, не у всех душа воцерковилась, когда они стали взрослыми людьми.

Но были среди них и такие, кто сохранил свою душу от бурь двадцатого века и вынес её из всех житейских бед чистой и такой же смиренной, какой была сама их крестная мать – монахиня Наталья.

О таких, как она, духовных защитниках России, написаны стихи архиепископа отца Иоанна Шаховского:

Беззащитность

Всё сковано порукою земною –
За зверем ночь, простор – за белой птицей.
Но кто укроется за белизною,
За ангела кто может заступиться?
Нет беззащитней в мире, чем они.
Нет утаённой их в холодном мире.
Пред ними надо зажигать огни,
Их надо петь на самой громкой лире.
И говорить, что ангелы всегда,
Спасая смертных, падают в пучину.
Они идут с волхвами, как звезда,
Хранят рожденье, пестуют кончину.
Но сколько оскорблений, сколько слов
Мир говорит об ангелах впустую –
«Всё существует средь земных основ,
И только ангелы не существуют!»
Хранитель ангел, если и любя,
Твой шёпот я поранил невниманьем,
Прости меня. Я знаю, что тебя

Увидят все в час позднего свиданья.
Когда наступят сумерки земли
И свяжутся навек пустые речи,
Все ангелы придут, как корабли,
Последней беззащитности навстречу.

* * *

Родные сёстры Раиса и Клавдия были племянницами монахини Натальи и её крестницами. Они очень её почитали и называли по-местному *крёска*. Хотя и жили сёстры всю жизнь рядом, но свой земной крест пришлось им нести каждой по-своему. У каждой был свой духовный путь и своя судьба. С молодых лет они очень различались характерами. Раиса, младшая, была в молодости жизнерадостной толстушкой. Её приветливые глаза весело поблёскивали на круглом румяном лице. Она любила и умела петь. Голос у неё был высокий, грудной и очень сильный, переполненный жизнью молодой души. Когда за праздничным столом после долгих уговоров она решалась запеть, лицо её преображалось: становилось серьёзным и отрешённым. Таким оно у неё было только в минуты молитвы, когда её никто не видел. Как и молитва, пение для неё было делом серьёзным и несуетным. И там и тут она открывала душу. Она и пела, и молилась всей своей душой. И слушать её без слёз было невозможно: её пение потрясало и очищало сердца слушателей.

Старшая сестра Клавдия была высокой, крепкого телосложения, физически сильной крестьянской девушкой с тихим и рассудительным голосом и смиренным взглядом живых глаз на строгом лице. Хотя она была старше Раисы, но всегда жила как бы при ней, во всём ей покоряясь в повседневных домашних заботах. Однако младшая сестра совершенно справедливо говаривала: «Клава у нас – упрямая». В чём же заключалось упрямство смиренной Клавды не сразу можно было понять. Видимо, оно незаметно проявлялось в том, что она упорно следовала по одной,

однажды избранной ею дороге и старалась не свернуть с неё. Что же за чудная это дорога вела её по жизни, с внешней стороны, казалось, заполненной одним тяжёлым крестьянским трудом? Многие ли её разгадали?

Теперь, когда прошло много лет, оглядываешься назад, пытаешься понять этот путь. Всё упирается первоначально в какие-то мелочи жизни, отдельные детали, которые, как камни на дороге, мостят собой этот простой и чистый жизненный путь.

Молодость сестёр прошла в предвоенные и военные годы. Коллективизация, а затем война тяжёлыми колёсами переехали жизнь и судьбу их семьи. Раскулаченные родственники и друзья, попавшие в тюрьму или уехавшие скитаться по чужим краям, голод, тяжёлая работа в колхозе за неоплаченные трудовые дни.

Но молодость брала своё. Раиса стала участвовать в клубной самодеятельности и вскоре вышла замуж, переехала жить в Квасюнино, деревню мужа. Клавдия же осталась жить незамужней в старом родительском доме.

Но очень скоро, года через четыре, судьбы их снова сравнялись. Обе они остались после войны одинокими, никому не нужными женщинами. Нет, нужны они были своим маленьким дочерям. У Раисы была родная дочь, а у Клавдии – приёмная. Сначала свёкра, а потом и мужа Раисы за полгода до войны по оговору арестовали. Одного отправили в одну из белозерских тюрем, а другого в ленинградскую тюрьму. Перед смертью в тюрьме свёкор написал письмо родственникам, в котором сообщал, что умирает с голоду, умолял прислать посылку с продуктами. Из всего следовало, что бедный старик даже не знает о том, что «на воле» идёт жестокая война, сын сидит в ленинградской тюрьме, а невестка с грудной дочкой сами едва не умирают от голода

...

Муж Раисы после ареста как в воду канул. После войны ходили слухи, что один односельчанин видел его, якобы в осаждённом Ленинграде на земляных работах – на окопах.

Осталась Раиса без мужа, без средств к существованию. Даже доброе имя было отнято. С горя навалилась болезнь, и стала она неспособной к тяжёлому крестьянскому труду. Да и не рвалась она в колхоз после того, как так жестоко расправились с её семьёй. Жила она с маленькой дочкой на случайные заработки: шила, пускала квартирантов, держала овец, коз, кур, возделывала небольшой огород.

Тем временем дом без хозяина ветшал, протекала крыша, от этого гнили полы и стены. Сад за домом дичал. Только по-прежнему в старом доме в красном углу сияли иконы, да всё выше и выше над домом поднимались посаженные когда-то ещё свёкром и мужем у обочины дороги черёмухи и тополя, как бы защищая вдовый дом от чужих и злых людей. В ненастные ночи деревья уныло и тревожно шумели, предвещая новые печали.

Каждое утро, рано встав, Раиса долго молилась перед иконами. Вечер также заканчивался долгим молитвенным стоянием. Церкви в округе были давно закрыты. В одной разместились ремонтные мастерские, а рядом с заречной церковью расположился лагерь для заключённых, да вырыли песчаный карьер. И негде, казалось, найти защиты...

Но Бог всё видел. *«Блаженны плачущие, ибо они утешатся».*

Наступили пятидесятые годы. Время обманчивых надежд и перемен. Раиса, с отчаяния от беспросветной нужды, приютила у себя условно освобождённого из ближайшего лагеря заключённого. Вспыхнули были надежды: поправит мужик дом, заведёт хозяйство. Легче будет жить и веселее. Но за наивную доверчивость женщина была наказана. Только кончился срок – тот, кого она уже считала своим мужем, исчез, не попрощавшись даже. В тот год подобная история случилась не в одном деревенском доме, но когда в деревне узнали, что Раиса ожидает ребёнка, многие стали осуждать её. Ведь ей нельзя делать то, что можно другим! С удивительным мужеством и достоинством несла она свой новый крест. Она не жаловалась никому и

никого не смущалась: всё случилось так, как суждено было случиться.

Родился её сынок светлой июньской ночью. В тот вечер, когда она уже почувствовала приближение этого события, неожиданно нагрянули гости: тётушка из Череповца и дядюшка с сыном из Ленинграда. Верная своему природному дару гостеприимства, она из последних сил приняла дорогих гостей, чем могла угостила, и, уложив спать мужчин, вызвала в сени тётушку и призналась ей, что пришло ей время рожать, и поэтому просит тётушку похозяйничать без неё в доме, да присмотреть за дочерью.

Роддом находился километрах в шести от деревни, в большом селе Чаромское, поэтому ошеломлённая новостью тётушка попыталась было убедить Раису взять с собой провожатых и с этой целью намеревалась будить мужчин. Но Раиса категорически отказалась от помощи и почти бегом исчезла из дома.

По дороге, в кустиках при переходе через небольшую речку, неожиданно ей встретился молодой односельчанин. «Куда это ты, Раиса собралась, не на гулянку ли?» - изумлённо пошутил он. И она в тон ему ответила: «На гулянку!» А у самой сердце ёкнуло от испуга. Пошла дальше, преодолевая боль. Наконец, добралась до родной деревни Высокова, до родительского дома, где жила сестра Клава. «Клава, помоги!» – только и успела вымолвить она, повалившись на пол. Клава бросилась во двор, с трудом подняла на ноги уставшего за день быка, на котором она возила молоко с фермы, запрягла и, усадив стонущую сестру в повозку, тронулась в путь...

Всю ночь не спавшая тётушка просидела у раскрытого окна. Рано утром к дому подъехала повозка, запряжённая быком, и в дом тихо вошла Клавдия. Тётушка бросилась к ней навстречу и, увидев как всегда тихую улыбку на её лице, облегчённо вздохнула. Клавдия сообщила: «Родился мальчик, едва доезти успела!»

Послевоенная судьба Клавдии складывалась не так

бурно, но не менее драматично. В середине войны умерли её родители и двоюродная сестра, оставив на её попечение маленькую девочку. Клавдия, привыкшая жить как птица Божия, не думая о своём пропитании, тут затужила. Но крепкое здоровье и трудолюбие помогли её вырастить приёмную дочь. Каждое утро, вставая в четыре часа, она запрягала старого ленивого быка в повозку, загружала в неё на ферме тяжёлые бидоны с молоком и ехала из Высокова в Квасюнино, в деревню сестры. Там, на маленькой сыроварне она разгружала эти бидоны, а потом грузила их уже с «обратой», как здесь называли сыворотку.

Пока шёл процесс обработки молока, она заходила, как правило, к сестре. Та её угощала, чем Бог послал, чаще всего картошкой с хлебом да чаем из самовара, а в воскресенье и в праздники - пирогами. Бык с повозкой терпеливо стоял во дворе. Ожидая хозяйку, он нередко ложился на траву прямо в упряжке, закрывал глаза, погружаясь в дремоту. Оводы налетали тучей, но он был невозмутим. Трудно потом было Клавдии снова поставить его на ноги и заставить двигаться. За день таких рейсов приходилось делать летом - три, а в другие времена года - два раза. Последний раз повозка, загружённая бидонами с обратной, медленно продвигалась по просёлочной дороге поздно вечером, когда уже почти все жители деревни, утомлённые дневными заботами, давно спали.

Как тяжело приходилось Клавдии! Да тяжело... Но и она, как и Раиса, не жаловалась на судьбу. На лице её постоянно светилась тихая улыбка, а походка до самой старости была лёгкой и неслышной. *«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».*

* * *

Примерно раз в год сёстры ездили в город Череповец. Ездили в разное время и с разной целью, но обе останавливались у городской тётушки, которую они по

деревенскому обычаю звали «боба Надя».

Раиса приезжала обычно перед Рождеством или перед Пасхой. Привозила обязательно деревенские подарки: замороженную баранину или козлятину, мороженые яблоки, связанные из овечьей шерсти рукавички и носки. Все эти царские, по тем временам, подарки гостя с какой-то особенной добротой и любовью вручала хозяевам. Особенно её приезды любила внучка тётушки – Люся.

Однажды, как обычно, Раиса приехала перед Пасхой. Всю страстную неделю, утром и вечером, она проводила в церкви на службах. Днём отдыхала или вела задушевные разговоры с тётушкой о прошлом и нынешнем житье-бытье. Во время одного из таких разговоров они решили окрестить Люсю на пасхальной неделе.

Старый священник, её крестивший, был добр и приветлив. В те годы детей крестили редко. Кто боялся преследований, а кто уже давно отбился от родных православных корней. Раисе удалось убедить священника не делать записей о крещении, чтобы не было нежелательных последствий на работе у матери ребёнка. Ему было не привыкать крестить тайно. На прощанье он подарил девочке два крашенных яичка и две конфетки, а затем ласково благословил её. В тот год Пасха была ранней, на улицах ещё не стоял снег, дул холодный, пронизывающий ветер, но на душе у девочки была какая-то ранее незнакомая небесная радость.

С тех пор она каждое лето рвалась в деревню – к своей любимой крестной матери, с которой у неё навсегда соединилось это радостное чувство жизни. *«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».*

* * *

Клавдия обычно приезжала в Череповец в начале лета, сразу как только посадит огород. Приезжала она продать на рынке оставшуюся от прошлогоднего урожая картошку. Её сильные, безотказные руки справлялись с большими

мешками, нагружая их сначала у дома на телегу, с телеги – на лодку, с лодки – на причал пристани, с причала – на пароход, с парохода – на подводку городского мужика, возившего грузы на городской рынок. В те годы картошку в Череповце раскупали мгновенно. И вот Клавдия, уставшая, но снова нагруженная уже городскими продуктами: буханками хлеба, батонами, баранками, сахаром, пряниками, - шествовала к тётушке, бобе Наде.

Обычно она, в отличие от сестры, не задерживалась и уезжала в тот же день вечером или на другой день. Работа в колхозе не позволяла ей оставаться дольше. Клавдию угощали обедом и чаем. После удачной продажи картошки держалась она торжественно, ела не торопясь, любила обстоятельно поговорить с тётушкой, так как ей редко приходилось бывать в гостях, да ещё у городских. Как правило, почувствовав её блаженное состояние, на колени к ней забирался тётушкин кот Мурзик, которого она не гнала от себя и во время еды, несмотря на уговоры тётушки, призывающей «шугануть бесстыжего». Однажды кот, долго и терпеливо наблюдавший за ложкой с супом, которую Клавдия держала в руке и никак не могла донести до рта во время затянувшейся речи, вдруг одним махом лапой выхватил из ложки кусок мяса и исчез с ним под кроватью, к неописуемому восторгу внучки Люси. Все бросились ругать и чуть ли не бить кота за нахальство, и только Клавдия продолжала безмятежно улыбаться, как ни в чём не бывало...

Если она оставалась ночевать, то во сне нередко всю ночь кашляла и стонала. Тётушка не спала и всё думала: «И у Клавдии силам есть конец». Утром, жалая гостью, она ей внушала: «Что ты, Клава, не лечишься от кашля! Да и работу-то больно тяжёлую на себя взваливаешь. Ведь не мужик!» Клавдия только в ответ блаженно улыбалась, аккуратно складывая вытрясенные на крыльце простыни, на которых она спала. Ритуал трясения простыней утром после сна она совершала каждый свой приезд, несмотря на категорические

протесты тётушки и улыбки проходящих мимо соседей по дому.

* * *

Так шли годы. Сёстры постепенно старели, а их дочери росли и вставали на ноги в своей самостоятельной жизни. В шестидесятые-семидесятые годы жизнь становилась побогаче, уже не изнуряла так нищетой и голодом простых людей. Стала отстраиваться деревня Квасюнино, расположенная в удобном месте на реке Шексне. Дочь Раисы закончила десятилетку, стала работать дояркой, дали ей ссуду на новый дом. Стала Раиса жить с дочерью в новом жилище, с тоской поглядывая на стоящий напротив через дорогу совершенно уже непригодный для жилья старый дом. Перенесли из него на новое место незамысловатую мебель, старые иконы. Только сердце её осталось там, за дорогой – за старыми черёмухами и тополями.

С молодости присущий ей дар гостеприимства расцвёл в ней в те годы с особой силой. Многие городские родственники ездили к ней каждое лето. Всех она принимала – ближних и дальних – с неизменным грудным смешком и искренней радостью. Гостям казалось, что они её осчастливили, словно преподнесли ей драгоценный подарок своим приездом. Привечала она и нищих, даже цыган приветливо встречала, а они об этом знали и, заходя к ней в дом, были на удивление скромны.

Городских гостей особенно удивляла её вера в Бога, тихая и простая, без ханжества и гордыни, столь заметных у новообращённых, пока они не накопят немного в своей душе целомудренного смирения. Молилась Раиса ранним утром, когда гости спали, и поздним вечером, когда они или были где-то на прогулке, или уже в постели. Неизменно она пекла вкусные пироги с яичком и сметаной или с картошкой, называемые по-местному «налитушки», варила щи для угощения дорогих гостей, а сама вела за столом весёлые разговоры и ничего не ела. И только иногда смущённые гости

нечаянно видели её трапезу, состоящую из варёной картошки, чёрного хлеба и чая в прикуску с сахаром. *«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут».*

* * *

К старости переехала на Квасюнино и Клавдия в купленный подешёвке старенький домик. Как и многие другие дома в Высокове, её родительский дом совсем развалился, и жить в нём стало невозможно. Да, тогда многие дома, вслед за погибшими на войне хозяевами, стали быстро рушиться и гибнуть, не находя опоры. От крепкой когда-то деревни осталось на холме несколько домов.

Давно умерла монахиня Наталья – ангел-хранитель этого селения, полей и лесов. В шестидесятые годы народ стал жить материально лучше, но разразились два новых народных бедствия: укрупнение деревень за счёт разорения «неперспективных» селений и затопление полей и лесов из-за строительства Волго-Балта. Свободно гулял ветер произвола по голому пространству вырубленных лесов и незасеянных полей. Собирался этот ветер повернуть северные реки вспять, чтобы текли они в чужие земли и обезводили свою родную почву. Однако проснулась народная совесть – писатели, родом из северных деревень. Их поддержали другие русские люди, не утратившие мужества говорить правду и защищать родную землю. Отстояли свои реки.

Но продолжалось духовное опустошение края. Народ, лишённый духовных радостей, искал радость в вине. Нарастала эпидемия пьянства.

Да только тайна народной души пока не была осквернена чужебесием. Эту тайну берегли как зеницу ока Фёдор Абрамов, Василий Белов, Николай Рубцов.

На память от монахини Натальи осталась сёстрам чудная икона, блистающая живыми красками и излучающая какой-то радостный покой и свет. Изображена была на ней Богородица Дева Мария на облаке, а внизу - святые,

выстроившиеся в ряд, словно бы для защиты и благословения молящихся. Были среди них и апостол Андрей Первозванный, и святой великомученик Георгий Победоносец, и святитель Николай, и святые Фрол и Лавр. Икона была большой и помещалась в старинном деревянном киоте под стеклом. После смерти тётушки Клавдия никогда с ней не расставалась. Привезла она её с собой и на Квасюнино. Эта икона будто освятила и осветила своим ликом новое убогое жилище русской крестьянки. Она стояла на старом деревянном ящике в красном углу. Когда Людмила, внучка городской тётушки, вошла впервые в хижину Клавдии, то была потрясена символическим смыслом открывшейся картины: казалось, сошлись здесь вместе страшное убожество жизни земной и высокая очищающая красота жизни небесной. Долго она стояла поражённая, не замечая наворачнувшихся на глаза слёз. И что-то сдвинулось в её уже успевшей очерстветь душе, и снова вспомнился день крещения, пробудились детские воспоминания о том, как её водили с собой на службы в церковь бабушка и крёстная. Вспомнилась вся прошедшая жизнь, и захотелось душе всё начать сначала, очиститься от грязи уже накопившихся грехов, житейских печалей и забот. В сердце зарождался словно бы обет перед Богом, требующий от неё духовного пробуждения....

Клавдия уже не могла заниматься прежней тяжёлой работой и пасла общественное стадо коз и овец. Это новое её занятие, как и старое – бесконечные поездки по полевой дороге на телеге, гружённой бидонами, были связаны с уединением и долгими часами молчаливого созерцания природы. Её простая душа, казалось, соединялась с окружающим миром, и в такие часы ей было ведомо всё, что происходит тайно и явно кругом: она понимала, о чём шумит лес и поле, куда плывут облака и за чем летит по небу птица, о чём думают и что замышляют её подопечные овцы и козы. Как-то раз шла Людмила с родственниками в лес по грибы и увидела такую картину на обочине полевой

сидела Клавдия в белом платочке и в этой позе бодрствования спала. Стадо паслось вдалеке и, казалось, уже готово было убежать от своего дремлющего пастуха. Когда городские разбудили Клавдию и предложили ей свою помощь подогнать овец поближе к ней, чтобы ей не бегать за ними по кочкам и довольно высокой траве, она спокойно, с улыбкой ответила: «Да куда они денутся! Вожак-то у них умной. Меня с голосу послушает. А так вы их только распугаете. Овца – тварь настырная, себе на уме. Она знает, где трава получше растёт, туда и бежит». От этих слов повеяло на городских чем-то далёким, древним и давно забытым ...

Как-то, разговорившись за самоваром, Клавдия подробно описала городским гостям, как она во время пастьбы приручила ворону, которая из наглого агрессора и воришки, подбиравшегося к её мешочку с сеном, превратилась в её друга, развлекавшего её своими неожиданными выходками в долгие часы одинокого пастушеского бдения в квасюнинской поскотине.

Клавдия была в те годы старой и одинокой. У её родных была своя жизнь и свои заботы. Воспитанная ею девочка-сирота, выросла, вышла замуж и жила где-то далеко в городе. У Раисы был полный дом внуков и большое хозяйство. Но сёстры по-прежнему дружили. Зимой, когда деревню заметало снегом, и ночью в морозном небе сиял месяц, Клавдии не было скучно – она жила зиму в доме Раисы, вместе со всем многочисленным семейством её замужней дочери. Убогая хижина Клавдии стояла пустой и не топлёной до весны, до тёплых дней.

Летом домик, вросший в землю, утопал в высокой траве и зелени окружающих её берёз, черёмух, рябин и тополей. Свой участок Клавдия по немощи уже не могла возделывать, и он превратился в прекрасный луг с душистыми травами. Когда Людмила приходила навестить старушку, то любила вместе с ней побродить по этому лугу, посидеть на нём и посмотреть с его высоты на виднеющиеся вдали перелески

и блестящую под солнцем реку.

Нередко старушка, не имея ничего другого, дарила её букет прекрасной мяты. Уходить от неё не хотелось: всегда казалось, что покидаешь райские кущи.

Шли годы. Незаметно подошло Клавдии время умирать. Стояло жаркое лето 1990 года. В доме Раисы на диване тихо мучилась Клавдия, ей становилось хуже и хуже. Вот и совсем невмоготу стало. Побежала племянница звонить в больницу, вызывать скорую помощь, а её оставила одну, так как все остальные были на работе. В это время пришла из соседней деревни к Раисе в гости её крестница Людмила, приехавшая накануне издалека навестить родные места. Клавдия узнала её и, преодолевая удушье и боль, обрадованно её приветствовала слабым кивком головы. У неё ещё хватило сил спрашивать вошедшую о жизни, о том, надолго ли и с кем приехала, как будто это не она сейчас у Людмилы на глазах испытывала предсмертные муки, как будто это так и надо.

На следующий день поехала Людмила навестить Клавдию в больницу, куда её увезли накануне. Она лежала на кровати у входа в переполненную палату и с трудом дышала. Глаза её, широко открытые, с расширенными зрачками, темнели на бледном лице. Она словно бы пристально во что-то всматривалась. «Видишь там ...», - едва слышно говорила она и напряжённым взглядом и слабым движением руки показывала куда-то перед собой. Людмила ничего не видела, но её охватил необъяснимый трепет человека, присутствующего при таинстве смерти праведника.

На следующий день Клавдия умерла. Это был Петров день. В гробу она лежала непривычно нарядная, в белой в мелкий цветочек батистовой кофте, в белом платочке, лицо сияло неземной радостью. *«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».*

* * *

Сороковой день падал на 20 августа. Накануне, в воскресенье, в большой праздник Преображения Господня, Людмила поехала крестить свою троюродную сестру с сыном и дочерью в посёлок Шексна, за пятнадцать километров от Квасюнина. День выдался на удивление жаркий и лучезарный. В тот год церковь в посёлке помещалась в покрашенном в синий цвет большом крестьянском доме на крутом берегу реки. Дом был пожертвован на доброе дело одним из местных жителей, так как возродившаяся православная община не знала, куда голову преклонить: все старые церкви в округе были разрушены.

Во время литургии в церкви стояло столько людей, что зайти в неё было невозможно. Вокруг по прибрежным тропинкам бродили толпы приехавших и пришедших креститься людей: старых, молодых, детей. Дети бегали, перекликались. Было шумно и как-то тревожно. Над всей кажущейся суетой нависло какое-то оцепенение ожидания. Вдруг из дома, превращённого в храм, вывели на крыльцо под руки высокую девочку-подростка, бледную, как полотно. Она медленно начала оседать на руки сопровождающих её людей. Мужчины бросились на помощь и положили её на траву. Рядом охала и плакала её бабушка, взывая к окружающим: «Помогите!» Моментально вспыхнул спор. Одни прыскали на девочку и её бабушку принесённой водой, успокаивали: «Не бойтесь! Это искушение перед крещением! Скоро пройдёт. Помолимся о ней!» Другие, испугавшись, требовали немедленно вызвать скорую помощь и везти домой или в больницу. Победу в общем смятении одержал откуда-то взявшийся решительный деловитый мужчина. Он требовательно сказал старушке: « У меня машина. Садитесь. Я вас отвезу домой». Старушку уговаривали остаться. Но куда там! Страх овладел ею полностью! «Что я скажу родителям, если что-то случится с Ниной!» – приговаривала она сквозь слёзы. Девочка уже приходила в чувство, но ещё

не понимала, что с ней происходит. Бабушка с мужчиной помогли ей подняться, посадили в машину – и помчались. Только пыль завихрилась по просёлочной дороге.

Людмиле вспомнились в эту минуту монахиня Наталья и её родители-крестьяне. Как мы слабы и маловерны стали. Есть ли теперь сильные духом люди, способные заключить обет с самим Богом?! Не о таких ли людях говорит в Евангелии Иисус Христос: *«Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделать её солёною? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить её на поприще людям».*

Но вот служба закончилась. На улицу вышел молодой высокий священник с кротким, умным взглядом – отец Роман. И все пошли на церковный двор, если можно так назвать довольно большое пространство за домом-храмом, огороженное простой деревянной изгородью. Священник остановился в центре двора, а все встали по окружности вокруг него. Народ собрался самый пёстрый: вперемешку стояли дети, взрослые, старики, деревенские и городские жители, приехавшие на лето в деревню. Все взоры устремились к отцу Роману. Солнце было в зените и сильно пекло, даже не верилось, что всё это происходит на берегу северной русской реки. Священник стоял с непокрытой головой под палящими лучами и проповедовал о смысле таинства крещения. Стояла напряжённая тишина. В заключение он попросил: «Если кто-то из вас пришёл сюда ради моды или праздного любопытства, то прошу вас – уходите. Сейчас начнётся не развлечение, а таинство. Вас много – более ста человек, и поэтому продлится оно долго. Подумайте хорошо, ещё раз проверьте своё сердце. Готово ли оно?» Наступила длительная пауза Ни единая душа не отошла прочь. Все стояли, с трепетом ожидая начала.

Домой вернулись только вечером. Людмила зашла к Раисе и сказала: «Сегодня и я стала крестной матерью. Теперь и у меня есть крестники». Раиса в ответ улыбнулась и пригласила: «Приходите завтра на пироги поминать Клаву. Сороковой день».

Единственное богатство, оставшееся после смерти Клавдии – чудесная икона, сначала сиротливо стояла в опустевшем доме. Но вот прошло года два, и нашёлся добрый человек, который восстановил церковь в селе Сизьма, недалеко от того кладбища, где похоронили Клавдию. Её племянница, по завещанию тётушки, перенесла образ в новую церковь. И теперь перед этим старинным образом останавливаются благоговейно сотни прихожан и, глядя на икону, вспоминают то, что казалось давно уже забыто и потеряно – любовь к Богородице-заступнице и её Божественному сыну Иисусу Христу.

* * *

Раиса пережила сестру на четыре года и затем повторила предсмертный путь Клавдии: ни жалоб, ни печали, а только бесконечная доброта к остающимся здесь, в этой жизни. Они обе исполнили обет перед Богом, данный их предками. Исполним ли мы его?

ВОСКРЕСЕНИЕ НА ШЕКШЕ

К весне 1933 года разруха от коллективизации в северных русских деревнях дошла до края бездны. Но и на краю бездны, заглянув в неё, не потеряли мужики головы и сохранили живую душу. Особенно яркой свечой горела душа у крестьянских детей, рождённых в годы войны, революции и разрухи. Через этих крестьянских детей Русь выживала и снова воскресала, распятая на кресте двадцатого века.

Степан и Надежда воспитывали пятерых детей. Старший, Анатолий, уже учился в педучилище в Череповце. Второй сын, Владимир, собирался последовать за горячо любимым старшим братом. Оба писали стихи, знали не только Пушкина, Лермонтова и Блока, но и помнили наизусть и пели стихи Клюева и Есенина. «Откуда это у моих детей?» – спрашивала себя не раз Надежда. И всегда молчаливый Степан отвечал: «От Бога!»

А Владимир, философствуя в свои четырнадцать лет, писал:

Родился я в голодный год.
Полон страданий и невзгод.
Но годы шли. Хоть тихо я
Но всё же рос. И мне поля
Любимым верным другом стали ...

Иногда он пугал родителей и сестёр недетскими пророческими стихами. Вот одно из них:

Я уйду... Как берёза по ветру
Золотые листья роняет.
И угасну по раннему утру,
Как по утру звезда угасает.
На дороге захоженной мост
Чаща ив закрывает, звеня.
Вы свезите на старый погост,

Под крестом положите меня.
Пропоёт обо мне лишь во ржи
Лебеда в предосенней тоске.
Прокричат журавли у межи
На холодном безмолвном песке.

Мужики, оставшиеся в деревне после коллективизации, решили: первое дело – надо детей от голода спасать. Председатель предложил устроить так называемые «ясли», в которых удалось в эти тяжёлые времена спасти от голодной смерти многих детей, начиная с действительно ясельного возраста и кончая шестнадцатилетними, которые одновременно выполняли роль и детей и нянек. А воспитателем был здесь сам голод. С его помощью и поддерживалась безупречная дисциплина и неукоснительный порядок. Перед началом трапезы за длинным деревянным столом в бывшем доме богатого мужика Демидова, погибшего в первые годы революции, крестьянские дети, маленькие и большие, сидели смиренно. Бойкая девушка Фрося, раздавая миски и ложки, командовала: «Что молчите? Запевай!» И первая начинала:

Мы кузнецы, и дух наш молод.
Куём мы счастья ключи.
Вздымайся выше наш тяжкий молот,
В стальную грудь сильнее стучи, стучи, стучи...

И при словах «стучи, стучи, стучи ...» все дети начинали стучать, кто ложкой о миску, кто ладонями по деревянному столу. Всеобщий восторг нарастал... И действительно, казалось, что они были счастливы в этот миг, несмотря на истощённые лица и тонкие ручки и ножки. Как же не радоваться? Ведь сейчас дадут есть! Обед состоял из каши и кружки молока! Дома давно этого не было...

Заведовала этими «яслями» Надежда, которую на этот

пост выбирали всем миром: надо было, чтобы человек был честный, добрый и заботливый. Таких баб было много в деревне. Но выбрали её – как более образованную (читать и писать умела) и с твёрдым характером.

Муж её Степан, мужик работающий и смирный, тем временем спасал оставшийся скот: под его командой ездили в лес рубить ветки, мельчили их и парили в больших котлах. Тем и кормили весной бедных коровушек. Так проходила весна, а осени в деревне теперь были тоже невесёлыми.

Вспоминая деревенские вёсны прошедших лет, Владимир с болью в сердце сочинял такие отроческие стихи:

Шелестит листьями тополь,
Звуки гаснут на ветру.
Кобелиный слышу вопий
По весеннему утру.

Мне знакомы эти звуки,
Песню слышу о былом.
После долгих дней разлуки
Посетил я отчий дом.

Это в прошлом мае было,
Это милая пора.
Кобели встречая выли
У заросшего двора.

И мои односельчане
Тихо кланялися мне.
Поклонился старой бане
И овину на гумне.

Но не вижу только межи
У зелёного конца.
«Тятя, наше поле где-же?»
Дрогнул голос у отца:

«Наше поле запахали
Новой лошадыю стальной»
...Рано росы отблестили,
Отгорел закат ржаной. ...

Временами наваливалась на Надежду и Степана чёрная тоска-кручина, но тужить было некогда: и день и ночь в работе и в заботе. Согревала родительское сердце и надежда на старшего сына: закончит скоро Анатолий училище, глядишь, и в люди выйдет.

Вот уж долгая голодная и холодная зима за плечами, март наступил. Солнечным деньком ехал Степан из леса с ветками на коровник. Видит – председатель к нему бежит, кричит издали: «Степан! Зайди сейчас ко мне!» Слез не спеша с саней, обмёл валенки на крыльце, зашёл в контору к председателю. А тот: «Степан! Вот телеграмму тебе свояк из Череповца прислал» - и замолчал, будто слова в горле застряли. Взял молча Степан ключок бумаги и прочитал: «Ваш сын Анатолий умирает от воспаления лёгких в больнице. Срочно приезжайте. Иван». Степан опустил голову, постоял молча да так и пошёл ни слова не говоря на улицу.

Слух раньше его принёс в дом страшную весть. Дочери-подростки плакали, маленький Коля им вторил, Владимир сидел под иконами, уткнувшись головой в руки. Надежда с потухшими серыми глазами на красивом тонком лице уже собиралась в дорогу. Кому же, как не матери, быть рядом с сыном в последние минуты его жизни! В избу начали собираться родственники и соседи. Решили, что повезёт Надежду в город её брат Андрей, а Степан останется дома с детьми и хозяйством.

До города было вёрст шестьдесят, но мартовская дорога уже сильно растаяла и превратилась в рыхлое месиво, поэтому добрались до Череповца только на следующий день к вечеру. В приёмном покое городской больницы ей холодно сказали: «Ваш сын умирает, но посторонним вход воспрещён.

Карантин». Как ни умоляла врача, как ни плакала – не дали побыть матери у постели умирающего сына! В изнеможении устроилась она в коридорчике на полу, ожидая утра и страшных вестей. Сердце замерло и, казалось, превратилось в лёд ... Рано утром вышел врач, поморщился и сказал, глядя в сторону: «Ваш сын умер в двенадцать часов ночи. Можете забрать тело».

Хоронить Анатолия повезли в деревню. Весеннее солнце беспощадно слепило глаза, снег за прошедшие сутки почти полностью стоял с дороги, и лошади, всхрапывая и кося глазом, с трудом тащили тяжёлые дровни с гробом. К вечеру, совсем выбившись из сил, завернули к дому, стоящему на окраине деревни недалеко от Шексны, покрытой набухшим, потемневшим льдом. Тревожный ветер гулял на просторе речных далей, безжалостно рвал и теребил ветви прибрежных ив, берёз и тополей.

Робко постучал в двери кнутом Андрей. Через минуту в окно выглянула немолодая женщина, осмотрела внимательно Надежду с братом, дровни с гробом и пошла открывать двери. Вошли в избу, перекрестились на образа и перевели измученный взгляд на хозяйку. Та всё поняла, и когда, наконец, Андрей выдавил из себя фразу: «На санях не добраться. Надо за телегой ехать ...» – она тихо ответила: «Гроб на дровнях поставим в сарай, там у нас теперь чисто. А ты, милая, пока у меня поживи. Даст Бог, мужик-то скоро с телегой вернётся».

Андрей быстро распряг лошадь, попоил, покормил её сеном и, не дав как следует отдохнуть себе и ей, в ночь отправился верхом дальше.

Надежда, казалось, с трудом понимала, что вокруг происходит. Она на всё смотрела с мёртвым равнодушием. Мария, так звали хозяйку, ни на минуту не спускала с неё глаз, нянчилась с ней, как с ребёнком. Прошли ещё сутки, в течение которых Надежда просидела у окна, неотрывно глядя на реку. На попытки хозяйки разговорить её, заставить вместе поплакать и облегчить тем ношу непомерного горя, она или

отмалчивалась, или говорила всегда одну и ту же фразу: «Паренёк-то мой в городе холодал и голодал, вот и помер». На второй день утром, когда Мария уходила за водой на колодец и немного задержалась с любопытствующими соседками, объясняя им, кто и зачем у неё остановился, Надежда вышла из дома и быстро пошла по тропинке к проруби. Мария с высокого берега издали увидела её, бросила вёдра и кинулась за ней. Догнала у самой кромки чёрной полыньи ... Чтобы не вспугнуть, тихо подошла сзади и ласково взяла за руку: «Надя! Вспомни о своих деточках! Ведь их у тебя ещё четверо! Не осироти бедных». Надежда вздрогнула, словно просыпаясь, невероятным усилием заставила себя отвести непослушные глаза от бездны и посмотрела на плачущую Марию. А та ей опять: «Пойдём, милая в дом, погреемся чайком». Послушалась как-то бессознательно и почти равнодушно, побрела назад.

Вернувшись в дом, Мария посуровела и сказала Надежде проникновенно: «Велико твоё горе, матушка! Но вспомни Богородицу и Её слёзы у креста распятого Сына!» После короткого молчания продолжила: «А сынка своего отпоёшь в церкви, как приедете. И возьмёт Христос к Себе твоё невинное чадо. Только молись Спасителю». Надежда начала едва заметно оживать, взглянула на иконы, рука сама начала креститься по давней, тысячелетней привычке всех русских женщин. Из глаз полились слёзы – и обе женщины, упав перед образами, тихо заплакали. Впервые за все эти страшные дни...

Ещё одни сутки миновали. Как родная мать, выхаживала Мария свою незваную гостью. Слёзы сменялись разговорами, в которых в основном говорила хозяйка, а гостя только слушала и лишь изредка что-то отвечала. Наконец, христианское смирение кроткого сердца Надежды победило открывшуюся перед нею бездну отчаяния. Она нашла силы встретить приехавшего на телеге мужа. Твёрдо стоя на ногах, нашла слова, чтобы смягчить первый страшный удар встречи мужа с мёртвым сыном.

Вернулись в родное Квасюнино и похоронили юношу на заречном кладбище, недалеко от белокаменной церкви, в которой его и отпели, как отпевали до этого всех его предков последние триста лет.

Весна, лето и осень прошли в безутешном оплакивании погибшей молодой жизни. Но тайна смерти равносильна только тайне рождения новой души. После смерти брата Володя стал часто задумываться, погружаясь в какие-то пока неясные грёзы и образы. В пятнадцать лет, когда сердце страстно рвётся вперёд, неудержимо спешит навстречу неизвестному, страшно испытать внезапную остановку стремительного полёта, резкий разрыв, казалось, извечно прочной цепи жизни. И тогда вдруг душа погружается в сон наяву, то есть летит в таинственном пространстве духа:

Сон

Посвящается дорогому Толе.

Светит месяц, светит ясно.
Звезды жемчугом мерцают –
Образ Толи посылают.
Взмыть хочу ... но всё напрасно!
Вдруг поднялся. Полетел
В изумрудное пространство,
Жизни лучшее убранство.
Тихо. Песенку запел.
В синей дымке я заметил:
Кто-то машет мне рукою.
Сонной я поник главою.
Взгляд приветливый он бросил –
Мне застлал глаза туман,
Слёзы градом покатались,
А уста в лёд превратились...
Сон ли это? Иль обман?

В начале октября, перед Покровом, решили последний

раз перед зимой побывать на могиле Толи, отслужить в церкви панихиду. Переехали на пароме по тёмной осенней воде Шексны и пошли к Чёрному озеру, где стояла старинная белокаменная церковь и при ней располагалось кладбище. Места эти издавна были овеяны таинственными легендами о святом пустыннике Антонии, на его мощах и была позднее построена церковь. Поэтому и назывались эти заречные лесные места пустыней. После литургии и панихиды в церкви, страшно смотреть на свежую могилу родного человека, долго стояли, растворяясь душой в печальной тишине осеннего кладбища и обступивших его со всех сторон облетающих лесов. Наступил краткий миг умиротворения. Зазвонил на колокольне одинокий колокол.

В тот же вечер Володя написал стихотворение, над которым потом долгие годы проливалась слёзы его мать. Предчувствия не обманывали поэтическую душу юноши. Вот это стихотворение:

Завещание

Как умру, вы меня схороните
На кладбище пустыни сырой.
Рядом с братом средь белых берёз
Положите увядающей ранней порой.
Положите к востоку главою,
Чтоб мне видеть, как солнце взойдёт.
И с весёлой, румяной зарёю
Кто-нибудь на могилу придёт.
На могиле насыпьте повыше
Круглый холм из сырого дерна.
И не будет спокойней и тише
Моего бесконечного сна.
Дикий камень на холм положите,
Будет славный мне памятник он.
И осенней порой навестите,
Как услышите утренний звон.

Звоном утренним, ранним, весенним
Будет чувства иные будить.
Нет, не буду ночами осенними,
Как таинственный призрак, бродить.

Когда тишина и покой вечности настигает юную душу, у неё вдруг открываются духовные очи: она прозревает. И тогда рождаются такие стихи:

Июньское утро

Разбуди меня завтра рано,
Только птица чуть песнь запоёт,
Когда в синем и бледном тумане
Свет июньского утра блеснёт.

И не трудится в поле крестьянин,
И не выгонил стадо пастух.
Пробужусь я от сладких мечтаний.
Пока звёздный свет не потух
И по рани зарёй золотистой
Не осветится спящий восток,
Пока капли росы серебристой
Не уронит дорожный листок.

И пока петух белокрылый
Не встряхнёт крылом ночи сон,
Не раздастся так сердцу милый
Старой церкви протяжный звон,
И над тихой, спящей рекою
Не рассеется бледный туман, -
Я восстану бодрой душою –
И развеется ночи дурман.

Родные стали замечать, что Володя даже внешне

изменился: глаза смотрели как-то вглубь себя и одновременно вдаль, он стал собранным, не по-детски сдержанным.

Перед ним по-новому открылась пронзительная прощальная краса родного края:

Люблю тебя, о, край мой синий,
С немою тишиной болот,
С сухим плетнём перед овином,
С крапивой жёлтой у ворот.

Люблю, когда у наших окон
Блестят листвою тополя,
Когда с цветущею осокой
Шумит по утру конопля.

Где брюквы голубая тина
Плетень широкий сторожит,
Где на заре перед овином
Овёс ромашкою звенит.

Вдыхать люблю я в день осенний
Дремоту жёлтой лебеды,
И над уснувшею деревней
Тальянки звонкие лады,

И по утрам над крышей ветхой
Берёзовую гарь печей.
И грезит с ивовою веткой
Дощатый мост через ручей.

И грезит месяц о прошедшем
Над далью синею полос.
Грустит о страннике ушедшем
Цветущая листва берёз.

Соломы нежное дыханье,
Всегда немая ширь полей,
Коней предутреннее ржанье
И крик осенних журавлей.

Когда весёлой песни голос
Звенит в нескошенной траве
И ветер треплет мои волосы
На бесталанной голове.

Где в утренней, дремотной рани
Когда-то песни пелись мне,
Желтеют осенью багряной
Скирды соломы на гумне.

Люблю я песнею весёлой
Дремотный лес оповестить.
Широкие поля и сёла,
Я не могу вас не любить!

С черемухой цвести я буду,
Её молчанью научусь.
И вижу я везде и всюду,
Тебя, берёзовая Русь.

Владимиру открылась сила и мощь родимой земли, её
живые ключи:

Ключ студёный, ключ холодный,
Напои водой меня.
Под листвою прошлогодней
Ты бежишь, струёй звеня.

Напои дыханьем лета,
Блеском солнечных лучей,
Ночью, днём и на рассвете

Тихим трепетом речей.

Напои водой игривой
Поздним вечером коня.
Пусть тряхнёт он белой гривой,
Золотой уздой звеня.

Он помчит меня далёко,
Пыль взовьёт из-под копыт.
Поле синее широко,
Даже конский глаз не зрит ...

Пробегает через ниву
Серебристый ключ в реку.
Так неси же конь игривый,
Бей копытом на скаку.

Радуйся дыханью лета,
Блеску утренней травы.
Пропою я на рассвете
Песню светлую души.

Как-то приехал летом из Череповца дядя Владимира. Иван Феофанович приходился Надежде братом. Это был крестьянский сын-самородок, которому ещё до революции удалось закончить Московский университет. Получивший прекрасное образование, трудолюбивый и неизменно тихий и скромный, он женился в 1919 году на умной, образованной девушке из старинного дворянского рода, укрывшегося от бури революционного Петрограда в тихом провинциальном Череповце. В его семье все любили поэзию, музыку, сами сочиняли стихи, пели.

Он преподавал в педагогическом училище, но родные места не забывал. Однажды вечером, после прогулки, сидели гости на крылечке и разговаривали с деревенской родней, любуясь закатом, полыхавшим над полями и лесом.

Незаметно речь зашла о поэзии. Гости, уже зная, что Володя пишет стихи, стали его расспрашивать, как это вдруг проснулся у него поэтический дар, попросили прочитать что-нибудь. И вот юноша начал:

Я подслушал песни эти
В нежном шёпоте берёз,
Вешним утром на рассвете
В серебристом блеске рос.

Напою слова сияньем
Ранней утренней зари.
В свежем трепетном дыханье
Тихо грезят пустыри.

Хорошо петь утром вешним,
Когда в грусти сердцем чист.
Мне про мир иной, нездешний,
Придорожный шепчет лист.

И ручей мой серебристый
Звонок, весел, говорлив.
Он звенит в траве росистой,
В голубом покое нив.

Ранним утром при дороге
В грусти ивы отцвели.
К одному концу в тревоге
Все дороги жизни шли.

Простираю в грусти взоры
На несжатой полосе.
Дремлют ветхие заборы,
Лебеда звенит в овсе.

Я покину это поле

У зелёного конца,
Нагрущусь наутро вволю
У дощатого крыльца.

Всех сидевших на крыльце прочитанные стихи пронзили, как родная музыка, способная всколыхнуть сокровенные глубины души. Иван Феофанович, вытирая непрошенные слёзы, проговорил сестре: «Да, Надюша, наберись мужества. Тяжело на Руси быть матерью крестьянского поэта ...». Все молчали, переживая услышанные стихи и слова Ивана Феофановича ...

Володя вдруг неожиданно поднял опущенную голову и начал отрешённо:

Я из тех, что недавно ушли
В мир иной, беспредельный и вечный.
До меня на заре отцвели
В нежной грусти берёзы-свечи.
Ранней осенью жёлтые листья
Облетают с посохших дерёв.
И в осеннем ветреном свисте
Чуть слышны переборы слов.
Вянет, вянет трава пожелтелая,
И качается ветхий забор.
Сыплет листья глава облетелая,
Пережитым туманится взор.

... Отзвучали песни ваши
В звоне веток отцветших берёз.
Над просторами чёрных пашен,
На межах пожелтевших полос.
Но под вечер синий, весенний
Ваших песен звучат бубенцы.
Только Клюев, Орешин, Есенин
Над родными полями певцы.

Ах, поля, перелески, заборы,
Я хотел бы петь, жизнью горя.
Да моя в белый вечер скоро
Догорит золотая заря.

Мать затревожилась: она не воспринимала стихи сына как поэтическую условность и не знала, что тему ранней смерти в творчестве юных поэтов принято называть штампом романтической поэзии. И через несколько лет оказалось, что она – единственная из слушателей – поняла стихи сына в истинном их пророческом смысле. Ивану Феофановичу тоже стало не по себе. Он вздохнул и сказал: «Прошу тебя, Володя, не называй имена этих поэтов при чужих людях, когда будешь учиться в городе. Это опасно теперь».

Осенью Володя стал учиться в педучилище. Череповец был тогда небольшим городом, но уже успел приобщиться к новой советской культуре, к поэзии новых советских поэтов. Володя пишет новые стихи, в которых намечается противостояние разных культур, разных миров. По образному строю мыслей и по оценке сегодняшней России его стихи перекликаются с поэзией Николая Клюева. Видимо, сборники стихов уже арестованного и сосланного в Сибирь поэта ещё не успели изъять из библиотек провинциального городка. Бережно хранились стихи опального поэта в домашних библиотеках и в памяти студентов – в основном деревенской молодёжи.

В те годы, когда уничтожалась духовная культура деревни и её «последние поэты», вдруг начал бурно развиваться новый деревенский фольклор: крестьяне и их дети стали писать стихи, повторяя в них, с большей или меньшей степенью оригинальности и талантливости, образы и поэтические мотивы любимых поэтов – Есенина и Клюева. Обычно считают, что поэзия профессиональных поэтов, как полноводная река, питается многочисленными ручейками народной поэзии, устного народного творчества. Так оно и

есть, но в тридцатые годы реку поэзии пытались повернуть в новое, искусственное русло, в страну коммунистических призраков и идеологических химер, то есть в никуда. Вот тогда и воскресла пленённая река в многочисленных тихих, но чистых ручейках: народная поэзия – в поэтах-крестьянах. В одной только деревне Квасюнино можно было насчитать более десяти поэтов. Кроме Владимира, стихи писали его брат Анатолий, двоюродные братья, муж его тёти Марии. О последнем особенно следует сказать. Деревенский мужик, выучившийся грамоте, Александр Тихомиров ещё до революции собрал большую интересную библиотеку, выписывал журналы «Нива», «Всемирная панорама». Уехал в Белозерск и там дослужился до пристава. Во всём любил порядок, но особенно ценил тишину и мир, поэтому и фамилию себе подобрал подходящую – Тихомиров. Его родовая деревенская фамилия была Башмаков, так как кто-то из его предков за что-то прозвали Башмаком. Его старший сын, деревенский поэт и юродивый Христа ради, однажды, желая пошутить над строгим отцом, сочинил о нём эпиграмму:

Васькин брат, Славухин дядя,
Из породы Башмаков ...

Отцу стихи понравились, он любил в людях смирение и сам готов был услышать о себе справедливые слова. Тихомиров любил поэзию, сам писал стихи, много поэтических сборников было в его домашней библиотеке. В годы разрухи и коллективизации он написал поэму, подобную поэме Николая Клюева «Погорельщина», и сам читал её вслух родственникам и друзьям. В сороковом году кто-то донёс властям. Тихомирова арестовали и посадили в тюрьму, которая находилась на острове, где он и умер от голода в первый год войны. Текст поэмы бесследно исчез, но до сих пор среди его родственников ходят легенды о том, как Тихомиров, кем-то предупреждённый о предстоящем аресте, положил все свои поэтические произведения в холщовый

мешок и закопал в саду за домом ...

Весной 1936 года семнадцатилетний Владимир написал большое стихотворение, которое так согрело бы сердце сосланного в Томск и обречённого на скорую гибель поэта Клюева. Если бы он знал, что его поэзия вдохновляет молодых поэтов - юношей, родившихся в его родных северных краях! Вот это стихотворение:

Вам не петь о жизни старой,
О синеющих просторах,
Об изломанных амбарах,
О разрушенных заборах.
Голубых полей овсяных
И соломы нежный шёпот
И по улице уснувшей
Не услышать конский топот.
Не услышать в нежной сени
Песни дремлющей соломы,
Не увидеть в день осенний
Ячменёвые хоромы.
За растворенным окном
Песни прошлого не слышать.
Не увидеть над прудом,
Как осина листом дышит
Не услышать в день весенний
Песни жёлтой лебеды,
Над уснувшею деревней
Зазвеневшие лады.
Не видать вам, как мечтают
Ячменёвые просторы.
Об ушедших вспоминают
Разваленные заборы.
Зачарованною песней
Не лелеять нежно слух.
На заре в рожок древесный
Петь не будет вам пастух.

Ведь самим вам не ответить,
Где у вас есть отчий дом.
И вам грусти не заметить
Над синеющим прудом.
Не услышать над болотом
Крик тоскливый кулика,
За весёлою работой
Грустных песен мужика.

Да, в деревне рождены
Мои грустные мотивы.
Для моих стихов даны
Голубеющие нивы.
Вы родились в городах,
Где лишь камень да железо.
В ваших крепнущих стихах
Гулкий посвист паровоза.
В моих песнях голубеющих
Грусть-тоска неизъяснимая
И веселье в поле зреющем,
До небес превозносимое.
В вашей жизни только слышится:
Сталь, бетон и снова сталь.

Наши хаты – деревянные,
Золотые верхи крыш.
Под окном благоуханная
Голубеющая тишь.
Ваша улица – бетонная
Не тоскует в городах,
Синей далью опьянённая,
В голубеющих садах.
Ваша песня не сживается
С жёлтой рожью на гумне.
Жёлтый колос вспоминается,
Зачарованному мне.

Перед войной Владимир служил в армии в Москве, поэтому в начале войны оказался на штабной службе, был адъютантом генерала Кокарева. Но всё время просился на передовую. Однако с ним, как с хорошим адъютантом, генерал не хотел расставаться. И только летом 1943 года Владимир в должности старшего лейтенанта оказался на передовой под Ленинградом. 25 июля этого же года он погиб в бою около Синявина.

На фронте он написал много хороших стихов, познакомился со многими поэтами, переписывался с ними. Как и любой искренний поэт, Владимир обладал пророческим даром и предвидел свою раннюю смерть.

Надежде Феофановне и Степану Митрофановичу пришлось пережить смерть и второго сына. Его кратковременные приезды в первые годы войны были для них утешением. Владимир заезжал на один-два часа, а иногда и на несколько минут, когда по делам службы был в командировке и проезжал мимо родного города. Он появлялся стремительно: выкладывал в качестве подарка продукты своего офицерского пайка, оставлял свои новые стихи, в рукописи или опубликованные во фронтовой газете, жадно расспрашивал о жизни всех родственников и, растревожив родителей, мчался снова на вокзал. Мать умоляла: «Володюшка, останься хоть на сутки дома!» Но от не мог этого сделать. В последний раз, видимо, предчувствуя, что больше не бывать ему в родительском доме, Владимир попросил сохранить все его рукописи и сборники стихов других поэтов, подаренных ему с автографами, в деревянном сундучке до окончания войны. Этот сундучок не раскрывался до 1956 года. Мать всё ждала возвращения сына и не могла поверить до конца, что его нет в живых.

Накануне того дня, когда пришло известие о гибели сына, ей приснился кошмарный сон, будто на их дом напали красные отвратительные крысы, загнали её в кухню, и она пытается спастись от них, кричит, умоляет кого-то о помощи.

Появляется соседка Зинаида и выводит её оттуда. На другой день, когда она одна изнемогала под тяжестью полученного извещения (дома никого не оказалось в этот момент), на помощь ей действительно пришла Зинаида, которая слышала через стенку её рыдания и поспешила на помощь.

После такого удара здоровье Надежды Феофановны уже нельзя было поправить. Но жизнь продолжалась ради других детей – двух дочерей и сына, для которых она всегда была утешением и отрадой.

В двадцатом веке русское крестьянство приняло на себя самые страшные удары враждебных России сил. Мы должны это помнить и передавать потомкам.

УЛЬЯНА ИВАНОВНА

*Не кукуй кукушка в лесе
На осине проклятой.
Сядь на белую берёзку -
Покукуй над сиротой.*

Жила в Череповце после войны на Советском проспекте в маленькой комнатке старушка. Звали её Ульяна Ивановна. Славилась она тем, что все земляки деревенские, что стали недавно городскими, в гости к ней ходили и искали в беседах с ней душевного утешения. Была она мастерица рассказывать, слушать, утешать, а то и пожурить, коли было за что. Не любила она, когда при ней люди ссорились или других за глаза осуждали. Она такому собеседнику обычно говорила: «Не поддегивай! На поддегущку не купишь красную телушку, а пёструю, и то бесхвостую».

Давно умерли её собеседники и она сама. Только не умерла та живая сила доброты и правды жизни, которая была в каждом их слове и поступке. Мы этой добротой и правдой до сих пор держимся в мире, часто сами этого не осознавая.

Но приходит сокровенная минута, и оглянется человек на прошлое, и всколыхнётся в нём родное тепло, и согреет его сиротеющую в холодном мире душу.

В архиве её родственницы сохранилась почти дословная запись рассказа Ульяны Ивановны о своём детстве, которое проходило в последнее десятилетие девятнадцатого века. Вот эта запись, сделанная в 1963 году.

* * *

Я по четвёртому году после мамы осталась. Отца чуточку одну помню. Как мама умерла, за ним на Назарово ездили. Пьянчушка был.

Осталось нас четверо после матери. Митрию, старшему было годов четырнадцать, Матвею – около двенадцати, мне – четвёртый год, а Николаю и двух не исполнилось.

Митрию пришлось обряжаться, самому хлеб печь на поду. Один раз хлеб кувылял-кувылял в муке, да в лохань кулыбыш и угадал.

Приютили меня сначала Евдичи. Жена Марфа была очень хорошая. Ребят своих шестеро перемоеет и меня, не свою, вымоет. Вшами не травила, нечо и говорить. А муж у неё был не пьяница и не разгула, а воришко. У нас, сирот, муки полмешка унёс. Марфа-то как узнала об этом, так и жунула ему. Брат мой Матвей пришёл к нему и спрашивает: «Где муку-то взял?» А он отвечает и как всегда принахривает: «Где, на пристанё». Вывели его всё-таки на чистую воду. Он муку-то назад к нам и притуганил.

С шести лет я жила в няньках у кабатчика. Конечно, няня не велика: ребёнку качала, цветы поливала, пол мела. И повадилась одна соседка ко мне ходить и подговаривать, чтобы я шкап-от хозяйский отперла, а она денежек-то и выудит. Я мала была да смекнула, Оксинье-то, своей хозяйке, всё и рассказала. Тем от беды и избавилась.

Когда поболее стала, меня к псаломщику порядили в няни. Псаломщик очень хороший мужчина был,

добросовестной. А хозяйка была так себе: не даст ни обутки, ни оболочки – иди снег выметай на мосту. И вот что приключилось со мной однажды: разбила я у хозяйюшки чашку фарфоровую. Я так болела за эту чашку – реку слёз пролила. Эдакая-то маленькая-то да и просила Бога: «Господи! Прикрой ризой нетленной эту чашку». Пока и жила не спросили о чашке! И по сию пору не спросили!

Потом меня взял священник. У него дочка была мне ровесница. Батюшка взял меня за сиротство. Перво жила и мало чего делала по дому, а поболее стала – поболее и спрос. Просфоры пекла, за коровами ходила. Жила в этой семье годов восемь.

А потом вот что случилось. У Микулича-то на квартире учительница жила. Она узнала, что есть в деревне сирота беспризорная, и отправила меня в Рыбинск в мастерские учиться. Я там жила года два, нашто. Были мы три сироты среди других на побегушках. А всего было четырнадцать девушек. Вот как-то кухарка мне и говорит: «Девка, ты, девка. Топерь ты становишься порядошная, доносишь ты свои виски, кто оденет?». Это мне на уста и намоталось. Зашел брат Митрий навестить – я за него и уцепилась. Когда я поехала домой, хозяйка со мной расплатилась – дала материи шерстяной на платье. Глупа, так чево?! Ещё отдавала она мне старую швейную машину, знаешь, челнок-от с дырочками. Да куда она мне.

А братья мои ходили на судах, пока я в таких волнах была.

Приехали домой, натопили свою хижину, и стала я жить дома с младшим братом Николаем. Старшие братья только к зиме с судов приезжали, муку привозили. А клету наступал у нас с Николаем великий пост. И стала я смекать, как дальше-то жить. Уговаривала братьев взять нетёлочку, а они не решались. Вот раз весной они уехали на суда, а я пошла к Башмачку, нашему соседу. Он перегоняшивался – шпикулировал скотом-то. Он мне и говорит: «Девка, дам я тебе нетёлочку, значит. Если сразу за деньги берёшь – то

плати 8 рублей, а если ждате мне, так заплатишь потом 16». Я и согласилась поневоле на 16 рублей. Где деньги-то взять? Они ещё и не заработаны у ребят-то.

Привела нетёлочку домой. Двор был – хоть на тройке поезжай. Поставила я нетёлочку в подызбицу и порадовалась: обзавелась своей животинкой. Потом уж раз навоз есть, так и земельки взяла полдуши. Малоё дело, чевоже. Стала огороды городить, огородами заниматься. И всё в душе радуюсь: вернутся с судов братовья, а у нас и коровушка есть и земелька своя.

И пошла жись всё-таки полегче.

* * *

Удивляет в этом рассказе мудрое отношение к бедам и несчастьям, несуетность, мужественная надежда на избавление, целомудренное неумение осуждать кого-либо, отсутствие всякого желания сваливать на других тяжесть собственной судьбы. Единственное, что иногда позволяла себе Ульяна Ивановна, так это пошутить, сказать одну из своих бесконечных прибауток и поговорок, вроде такой: «Ты, парень, шилом патоки не хлѣбывал».

АННА

Тёмная осенняя ночь, глухая и непроглядная. Анна лежит на остывающей печке. Скоро ли рассвет? Томительно долго тянутся часы ночью. И думы, думы... О прошлом. О настоящем думать нечего. Всё просто. Вот она одинокая старость. Ни родных, ни близких. Живёт где-то далеко отсюда племянница Татьяна, навещает, зовёт с собой в город. Только зачем?

Анна испытала одиночество с молодости. Отдали её замуж за нелюбимого. А любимый-то бросил всё и уехал из родной деревни неведомо куда. Подальше от неутешной утраты, самой первой и потому особенно пронзительной.

Богатый дом мужа после революции разорили, мужа сослали, и он умер где-то на чужбине. Осталась она с единственным сыном Павлушей, родной кровиночкой. Но все страшное было ещё впереди.

Однажды весной произошло это. Такого не пожелаешь и врагу своему. Выгнали коней пасти по первой весенней травке. Запросился и её Павлуша: «Мама, прокати на лошадке, прокати!» А она боится: «Мал ещё!» А он опять своё: «Немножечко!» Анна и сдалась: «Ну ладно, садись». Посадила она сына на самого, как ей казалось, смиренного коня. Да зачем-то скрученные вожжи набросила на сына, чтобы не волочились по земле. И только пошёл конь шагом, как громко затарахтел неподалёку новый колхозный трактор – невидаль в этих краях. Конь испугался неизвестного ему существа и как безумный бросился вскачь...

Анна не помнит, как бежала следом, как мужики ловили обезумевшего коня, волочившего по земле запутанного в вожжи ребёнка...

Очнулась уже дома на кровати. Сынок лежал уже прибранный под иконами. Соседки тихо шептались на лавке. Анна хотела встать, но ноги не слушались. Всю её сковал морозный ужас, сердце превратилось в комок льда. Погубила! Сына погубила!

Время было суровое на расправу, шли тридцатые годы. Следствие приписало матери умышленное убийство, и Анна оказалась в тюрьме.

После освобождения домой она не поехала. Страшно и больно! Прожила – промаялась предвоенные и военные годы на чужбине. Как жила, один Бог ведает!

Но вот после войны, когда в воздухе повеяло какой-то надеждой, и сердце отдыхало от перенесённых лютых испытаний, захотелось и Анне в родные места. Быстро собралась и поехала.

Тихо появилась она в родной деревне. Родственники сочувственно встретили её.

Племянница Татьяна, тоже потерявшая в войну маленького сына, умершего от скарлатины, чувствуя особое горестное родство, пригласила её жить вместе. Жить устроились в Череповце, в комнатке, которую они снимали в небольшом домике. Племянница не узнавала свою тётушку. Анна из когда-то хлопотливой, весёлой женщины превратилась в монашку. Держала всё время строгий пост, после работы постоянно уходила в церковь, вечерами читала Библию, была тиха и немногословна.

Прошло несколько лет. И вот однажды весной приезжает в Череповец Павел – первая и последняя любовь Анны. К тому времени он овдовел, намаялся жить бобылём и решил снова жениться. Вспомнил молодые годы, Анну, родные места. И захотелось ему побывать на родине.

Узнал адрес односельчан, теперь живущих в Череповце, и неожиданно нагрянул.

Встретили его с большим удивлением, но гостеприимно. Надежда Феофановна, у которой он остановился, созвала в гости деревенских родственников. Все радовались неожиданному появлению Павла, которого считали уже без вести пропавшим. За чаем с пирогами пошли разговоры, воспоминания. Всем пришлось пережить тяжёлые годы коллективизации и отечественной войны, у всех были погибшие в войну родственники. Горя-то все хлебнули. А

теперь вроде бы затишье. Пошли времена посветлее и потеплее. Гости не вспоминали только об одной Анне, не хотели, как они выражались, «травить душу» Павлу. Но он сам заговорил о ней. Стал спрашивать, где она сейчас живёт, есть ли семья, дети? Что делать! Рассказали, посочувствовали...

На следующий день гость, оставшись наедине с Надеждой Феофановной, несколько смущаясь, но и твёрдо в то же время, стал просить у неё помощи – сосватать за него Анну. Старушка изумилась: «Ты же её не видел ещё!» А Павел: «Если думаешь, что больно состарилась, так и я ведь не молодой. А ведь старая-то любовь не ржавеет. Не спал я сегодня всю ночь. Всё о ней горемычной думал. До чего жаль – не высказать!» «Что ты Павел! И не думай о сватовстве! Ведь она теперь как монашка! Она и с племянницей-то двух слов не скажет. Вся в молитве». Но Павла было не убедить в невероятности своей затеи. В конце концов он даже рассердился: «Ты, Надежда, нам не мешай! Мы и так с Анной судьбой обиженные. Лучше помоги. Прошу как доброго человека! Твоё дело простое: приведи меня к Анне на квартиру, а уж остальное мы сами решим с ней».

После таких слов Надежде Феофановне ничего не оставалось, как подчиниться его увещаниям. Ближе к вечеру они направились к Анне. Дома оказалась одна племянница Татьяна. Надежда Феофановна начала издали. «Вот, Татьяна, приехал к нам издали наш земляк, давно в родных местах не был. А ведь тоже, как и мы – квасюнинский.» Татьяна собрала чай, но почувствовала она во всей ситуации какую-то неловкость. Гостя под каким-то предлогом вызвала её на кухню и начала: «Татьяна, гость-то свататься приехал!» Татьяна страшно обиделась: «Что вы, тётя Надя! Какой же это мне жених! Ведь старик!» Ей и в голову не могло прийти, что кто-то может посвататься к её тёте-монашке. «Да не к тебе сватается, к Анне!» Татьяна ещё более изумилась: «К тёте?! Чепуха какая-то! Ну ладно, сейчас придёт она с работы, тогда разберёмся!»

Вскоре вернулась с работы Анна. Гостя представили ей. Она не растерялась, к удивлению присутствующих, и долго и грустно смотрела ему в глаза, когда он держал её руку в своей и говорил взволнованно: «Вот привёл Бог свидеться, это через тридцать-то лет! Здравствуй Аннушка!» «Здравствуй, Павел. Да, Бог привёл. Видно, не зря я тебя каждый день поминала!» Все постепенно стали успокаиваться. Всё как-то само собой встало на своё место. Попили дружно чаю, поговорили, стали гости прощаться. О сватовстве ни слова.

Прошло ещё три дня. Анна с Павлом встречались каждый день, и, наконец, жених решил посвататься. А ещё через три дня на квартире у Надежды Феофановны, состоялась тихая свадьба. Квасюнинские родственники и знакомые пришли поздравить молодых, пели старые, доставшиеся ещё от предков песни: «Когда б имел золотые горы ...», «Ванька-ключник»... Но всем было почему-то невесело и тревожно. Слишком круто всё повернулось. Что-то будет? Жалели Анну: едет неизвестно куда и почти неизвестно с кем!

Анна как всегда была молчалива, но наедине с Надеждой Феофановной сказала ей печально: «Поеду с Павлом, всё-таки родной человек, хоть и много воды утекло. У него в доме буду хозяйкой. А здесь что? Татьяна молодая. Ей семью заводить надо. Не буду мешать. Спасибо и то ей, приютила и обогрела, как могла. Одно плохо: нет там церкви!»

Прожили Анна с Павлом вместе более десяти лет. Новой дружбы между ними так и не зародилось, а старых воспоминаний хватило ненадолго. Так беспощадно обожгла их жизнь в прошлом, что не осталось сил для нового радостного содружества. Однако не обижали друг друга, а когда Павел тяжело заболел, то Анна до последнего его дня заботливо ухаживала за ним.

И вот опять одна в состарившемся доме, без церкви, без родных поблизости. Вот уж сколько лет? Что за жизнь она прожила? Почему теряла она в ней всё самое дорогое,

почему она опять и опять одна? А душа просит света и привета: «Господи, прости меня грешную! Приюти меня в селениях Твоих!»

* * *

Ранней весной на Страстной неделе племянница Татьяна получила телеграмму: «Анна умерла. Приезжайте».

Дорога была утомительной. Сначала поездом до Волховстроя, потом на старом дребезжащем автобусе до райцентра, а потом семь километров пешком.

Соседи в деревне встретили как-то настороженно. Одна из соседок испуганно шепнула Татьяне: «Задушил кто-то бедную. Деньги искали. А какие у неё деньги?!» Анну, не дожидаясь племянницы, уже похоронили. Татьяне осталось только постоять у свежего холмика и мысленно помолиться о её многострадальной душе.

КРУШИНА

Солнце зашло за дальний горизонт, когда старенький пароход «Свирь» или, как его называли в народе - «Свирь кособокая», причалил к пристани. Вышла группа женщин с маленькой девочкой.

Невероятная тишина оглушила их, когда пароход отплыл вдаль, и они оказались совершенно одни на топком низком берегу. От реки несло ночной прохладой. Почти к самой воде приступал еловый лес. Только в одном месте был едва заметен просвет. Молча пошли по вольно петляющей по лугу тропинке в лес.

Девочка была напугана необычайной для её городского слуха тишиной, влажным воздухом, насыщенным непривычными ароматами леса и цветущих трав, безлюдьем и таинственно святящимся каким-то внутренним светом вечерним небом. Постепенно она начала различать какие-то звуки, потаённые, неизвестные. Неожиданно кто-то

заплакал тонким голосом. «Не бойся, Люся, это птица-чибис», - сказала бабушка, которая вела девочку за руку.

Они прошли по довольно широкой просеке, лес вдруг кончился, перед ними распахнулись широкие поля. Быстро темнело, и Люся почти угадывала по запаху, что вплотную к дороге приступили цветы, ей неведомые и таинственные. Сердце радовалось и ликовало, как птица, выпущенная на свободу. Шли легко и весело. Женщины тихо переговаривались, но девочка их не слышала. Она вся была поглощена созерцанием неведомого ей мира.

Вдалеке на горизонте показались мерцающие слабые огоньки, а затем и чернеющие контуры деревьев и изб. Однако идти пришлось ещё долго, пока они не вошли в деревню. К тому времени летняя северная ночь полностью укутала прозрачной тенью дома и огороды. Ни огонька, ни звука. Теплотой и запахами пыли, навоза и молока был наполнен деревенский воздух.

Когда проходили мимо большого древнего амбара, увидели маленький огонёк папироски и услышали старческий голос: «Здорово, бабы. Кто будетё?». Бабушка откликнулась первой: «А, это ты, Осип. Здравствуй! Свои-свои. Из Череповца к Раисе приехали». Женщины остановились, все были рады почему-то встрече с этим едва видимым в темноте стариком. Когда двинулись дальше, Люся спросила: «Бабушка, кто это?» Но бабушка молчала.

Все остановились у крылечка дома, заросшего со всех сторон тополями и сиренью. Бабушка постучала в двери. Почти сразу в доме послышались чьи-то быстрые шаги, раздался радостный грудной смех и двери распахнулись. На пороге появилась полноватая женщина с гладко зачёсанными волосами и маленькими смеющимися глазами: «Слава Богу! Приехали, наконец! А я который день жду вас!» На девочку повеяло чем-то родным и давно знакомым, как будто она вспомнила что-то доброе и давно забытое. О Раисе она знала только из разговоров взрослых о деревне и деревенских родственниках.

Прошли через тёмные сени в маленькую кухню с русской печью. Хозяйка быстро собрала на стол: молоко, ещё не остывшее, парное, и пироги. Было шумно и радостно: все о чем-то говорили и что-то рассказывали, перебивая друг друга, будто долго ждали этого мгновения, чтобы досыта наговориться. Под этот говор девочка начала дремать и вскоре уснула.

Разбудил её громкий крик петуха. Было раннее утро. Лучи солнца едва пробирались сквозь густую зелень вокруг дома и играли светлыми зайчиками на чистом деревянном полу. Бабушка ещё спала. Люся встала, с удовольствием прошлась по широким гладким половицам и выглянула в двери, ведущие из комнаты на кухню. Там уже вовсю топилась печь, а у стола стояла Раиса и готовила начинку для пирогов. «Что, Люся, выспалась? Иди умываться к рукомойнику, а потом съешь яичко горяченькое!». С рукомойником девочка справиться не смогла: это оказался подвешенный на цепочке кувшин с двумя рыльцами, о которые Люся чуть не набила шишки. Женщина помогла девочке умыться из хитрого умывальника. Ребёнку даже понравилось это необычное занятие, которое она восприняла как новую весёлую игру.

Когда все проснулись и собрались за самоваром, начался опять шумный разговор. Речь шла о том, куда идти за ягодами: в свой, ближайший к деревне лес, который все именовали почему-то Кривоноговом или Квасюнинской выгородой (потому что деревня называлась Квасюнино), или в дальний лес - «Копосиськую» выгороду, называемую так по деревне Копосиха. Решено было идти в дальний лес, а Люсю оставить дома с Раисой. Девочке очень хотелось пойти в лес собирать ягоды. Ведь она об этом знала только по сказкам, которые ей читали взрослые. Не видела она, как ягоды растут! Но, несмотря на её просьбы, её оставили дома.

«Мы с тобой скучать не будем! – успокаивала её Раиса, когда девочка смотрела из окна вслед уходящим, - Пойдём кур покормим, возьми зерно». И завертелись, закрутились

одно за другим разные интересные дела, новые и ранее ей неизвестные.

Когда шли за водой на колодец, заметила Люся брошенную у обочины большую зелёную ветку, всю усыпанную черными блестящими ягодами. Девочка остановилась и начала срывать и есть ягоды. Они показались ей невкусными, но она всё-таки их ела и ела, пока Раиса не позвала её издали. Она так и не поняла, что девочку задержало на дороге.

Когда все дела были переделаны, уставшая Раиса решила отдохнуть, залезла на печь, а с ней и Люся. Незаметно девочку обступил тяжёлый сон, было жарко, душно, как-то тревожно. Проснувшись она от скрипа дверей. Открыла глаза и увидела, что у порога стоит старая цыганка, нарядная, но печальная. Девочка подумала, что она ещё спит и ей снится такой сон. Она закрыла глаза, снова их открыла, но увидела то же самое. Цыганка не исчезла, она по-прежнему тихо стояла и как будто чего ожидала молча. Девочке стало страшно. А вдруг она пришла украсть её? Ведь цыгане крадут детей!

Цыганка продолжала стоять и молчать. Люся лежала, затаившись. Тошнило и сильно болела голова. Рядом спокойно похрапывала Раиса. Что делать! ...

Наконец, Раиса проснулась как от толчка, внезапно. Она заметила стоящую у дверей цыганку и весело, приветливо заговорила: «Мария! Здравствуй! Давно так стоишь, что же не разбудила меня?» Люся немного успокоилась и подумала: «Это хорошая цыганка! Её тётя Рая знает». Но голова продолжала болеть всё сильнее и сильнее, сильно тошнило. Раиса усадила Марию за стол, стала угощать пирогами. Девочка наблюдала с печи, как цыганка посидела немного и ушла, по-прежнему окутанная какой-то тайной.

Когда бабушка с родственницами вернулись из лесу, Люся совершенно больная и бледная лежала на кровати. Правда, рвота и судороги уже прекратились, но голова ещё болела. Растревоженная Раиса рассказывала испуганной

бабушке, что девочка, видно, угорела. Однако никакого угара в доме не было. Стала бабушка спрашивать, чем занималась девочка и что ела. Наконец, выяснили, что Люся поела чёрных ягод с ветки на дороге. Раиса вскрикнула: «Так это же крушина!». «Крушина!» – эхом отозвалось в больной голове девочки, - крушина!»

Следующий день принёс новые события. Началось с того, что Люся проснулась от жалобного, но требовательного лая за окном. Собака лаяла как-то странно: пролает три раза хриплым голосом и замолчит, словно чего-то выжидая, потом всё начинается сначала. Наконец, девочка заинтересовалась необычной собакой, встала и подошла к окну. Выглянув из окна, она действительно увидела необычную собаку. Это был огромный старый пёс, такой худой, что страшно было на него смотреть: он походил на собачий скелет, а не на живую собаку, однако глаза его были необыкновенно живыми и горели страданием и печалью. Девочка чуть не заплакала от ужаса. Вовремя подросла Раина дочка Тамара, девочка лет десяти: «Дик! Дик! - Закричала она в окно. – Опять попрошайничать пришёл. На!» - и она бросила собаке корку хлеба. Та мгновенно её схватила и с жадностью съела. Снова раздался отрывистый и одновременно воющий лай. «Что, лаешь, тоже председатель ничего на трудодни не даёт?!» – со смехом сказала подошедшая Раиса. Тамара пояснила: «Это председательская собака, на охоту с ней ходит, но не кормит её». «Что такое трудодни?» – спросила Люся, с замиранием сердца наблюдавшая эту сцену. Она была маленькой городской девочкой и ни разу не видела таких голодных собак, хотя шёл пятьдесят первый год, и она помнила, что ещё совсем недавно ложилась спать впроголодь. Но такого голодного существа она не видела ни разу! Тамара со знанием дела ответила ей: «Трудодни – это зерно за работу в колхозе выдают колхозникам. Только не всегда дают. Иногда». Люся ничего не поняла толком, но спросила: «А из чего же тогда тётя Рая такие вкусные пироги вчера напекла?»

Даже цыганке понравились», - добавила она, вспомнив вчерашний день. «Так это же твоя бабушка привезла из города муки, а яички и сметана – наши. Ты же видела кур и козу».

Собака повыла и ушла просить пропитания к другому дому, а Люся на всю жизнь запомнила голодные собачьи глаза, как будто заглянула в иной страшный мир, ранее ей незнакомый. Ведь в детстве мы более зрячие.

ТРОЕ

Ночь наступала, а идти до жилья было ещё далеко. Ветер завывал в пустом поле, кое-как убранном, но вновь не вспаханном. Дорога лениво петляла между посеревших от долгих дождей клочков уцелевшей травы по обочинам. Небо мрачнело и мрачнело. Одиноко и страшно путнику одному в таком поле.

Нина, молодая сельская учительница, шла в отдалённую деревню по заданию районного начальства переписать детей школьного возраста и узнать, все ли посещают школу. Время было послевоенное, голодное. Нередко у деревенских детей ни одежды, ни обуви не было. Поневоле сидели дома. Нина, человек приезжий, мало кого знала в этих краях. Вот и деревня, в которую она шла, была ей неведома. Что её там ожидает? Назад сегодня уже не успеет вернуться – ночь на дворе. Кто же приютит её на ночлег?

Вдали замелькали слабые дрожащие огоньки. Вот и околица.

Когда учительница подходила к деревне, было уже совсем темно. Шёл холодный осенний дождь. Деревня угрюмо молчала. Медлить было нечего. Постучала в первый же дом, где едва теплился слабый огонёк жизни.

Открыла довольно молодая, но усталая женщина с усохшим и печальным лицом. Нина попросилась на ночлег.

Хозяйка после некоторой заминки ответила: «Заходите, коли другие не пускают. Только у нас нехорошо. Жалеть будете...» Нину смутил такой приём, но она так устала и продрогла, что не почувствовала в словах женщины какой-либо для себя угрозы, а только застарелую боль и уныние. Она зашла в тёмные сени и ощупью пошла за хозяйкой в избу.

Вначале она различила в темноте только слабо белеющую русскую печь слева от дверей, затем стол в углу, освещённый слабой коптилкой. В следующую минуту, когда учительница прошла за хозяйкой вперёд и осмотрелась внимательнее, то увидела фантастическую картину. За столом сидели три маленьких существа с обезображенными какой-то ужасной судорогой лицами, пустыми, бессмысленными глазами и выли голосом голодных щенят. Слабый огонёк не мог побороть тьму, заполнившую избу: черные колеблющиеся тени обступили эту дикую картину со всех сторон.

Сердце замерло от бесконечной тоски и ужаса...

Нина очнулась от голоса хозяйки: «Не бойтесь, это мои дети. Они такими родились... Вот и маюсь теперь... Я же вас предупреждала...».

Когда оцепенение разжало свой железный обруч, гостя села на лавку. Хозяйка уложила детей спать на печи, и они скоро затихли. Затем подала учительнице скудный ужин: холодную картошку с луковицей да морковный чай из почти остывшего самовара. Спать её уложила на единственную кровать, а сама легла на полу на разостланный соломенный матрас. Говорить им было не о чем в эту глухую осеннюю ночь...

Однако обеим не спалось. Первой подала голос хозяйка: - Не спите? – Не сплю. – Вижу вы сильно испугались. А я уж привыкать начала. Только вряд ли привыкну... Да и тяжело с ними. На работу уйду - всё в голове: как бы чего худого не сделали с собой и с домом. ... А всё наш грех! Кого винить...

Учительница пожалела хозяйку: «За что же вы себя

укоряете? Бедная, бедная!»

- Да есть за что, милая! – ответила та. – А началось всё с веселья, со свадьбы. Было это в тридцать седьмом году. В тот год церковь нашу порушили, батюшку арестовали и куда-то увезли. Собралась я замуж за Петра, а мать мне и говорит: «Хороший парень, только уж больно крутой бывает. Ты бы подумала да и повременила с замужеством-то».

Куда там! Не послушалась мать. Вот расписались в сельсовете и пришли домой. Мать с иконой встречает, говорит: «Церква закрыта, батюшку угнали, некому и повенчать-то вас, бедных! Давайте хоть иконой вас благословлю родовой - Богородицей Скоропослушницей». И начала нас матушка благословлять. А муженёк-то мой разъярился, видно, умом помрачился и каждый раз как матушка начинала нас благословлять – крестить иконой, он отстранялся и со злостью говорил: «Вот чудо-то!...» И так три раза матушка подняла икону, а он три раза сказал «Вот чудо-то!»

Хозяйка помолчала и добавила: «А что дальше было, сами видели...».

Нина была молода, в церкви не бывала, иконы только у родственницы-старушки видела, но мистический смысл рассказа бедной женщины поразил её своей неожиданностью и достоверностью, как будто сама она оказалась перед той тёмной пропастью, которая разверзлась перед её собеседницей.

Ранним утром, когда ещё дети спали, встала она первой, шёпотом попрощалась с хозяйкой и ушла из этого проклятого места.

Быстро обойдя дома и переписав детей, учительница отправилась в обратный путь.

Утро выдалось тихое. Дождя уже не было. Выйдя за околицу, она встретила стайку ребятишек, которые весело перекликались и бегали друг за другом по дороге. Их разгорячённые на холодном воздухе лица были румяны и радостны. А где-то вдали, за оголёнными полями и лесами

слабо прорезалась на пасмурном небе светлая узкая полоска позднего восхода солнца.

Шёл 1946 год.

ПОСЛЕДНЕЕ «ПРОСТИ»

Стояло жаркое лето. Тихо. Вся деревня на сенокосе. Только у одного из домов в тени старой-престарой берёзы сидели на лавочке две старушки и тихо разговаривали. У одной из них, Наталии, глаза были печально опущены вниз, изуродованные работой руки неприкаянно лежали на фартуке. Другая, помоложе и поживее, Анюта, не повышая голоса, почти шёпотом её в чём-то убеждала. А речь шла о самом главном – как жить, чтобы легче было умереть, когда время придёт.

Разговор не праздный. В доме, у которого они сидели, вот уже который день лежал и умирал Матвей, Натальин муж. Но смерть не приходила... Тяжко было душеньке нераскаянной, не причащённой и не соборованной. Кругом на десятки и сотни километров ни одной церкви.

Матвей молча лежал в каком-то тяжёлом полузабытье. Жизнь уходила и уходила из тела, сломленного недугом, а душа сопротивлялась и страдала перед чёрной пропастью развёрзшегося злого небытия. Душа жадно чего-то искала в этой тьме и никак не находила. Чего жаждала она, куда устремлялась из последних сил, у бездны на краю в чём искала опоры? Ответа не было в серой пустой тишине. Мучение продолжалось. Так шли дни, а спасительного ответа не было...

Иногда, зацепившись за какую-нибудь мелочь окружающей его, но уже чужой ему жизни, Матвей несколько приходил в себя и, не погружаясь в эту минутную действительность, он мысленно обращался в прошлое, которое он уже не мог отличить от настоящего. Сердце тогда то слегка оведала теплота воспоминаний о детстве и юности,

то сжимал холодом беспорядочный калейдоскоп его взрослой жизни. Любовь отчего дома он рассеял по жизненному пути, потерял до поры, до времени... Собственная семейная жизнь проходила в его воспоминаниях как беспросветные хлопоты о хлебе насущном. Что-то не то и не так было в ней. «Да, годы были трудные – военные, голодные, но ведь и совесть надо знать было!» – говорил он себе в минуты просветления. – «Обидел многих, когда на колхозном складе работал, обвешивал, выдавая зерно на трудодни. Да и по соседству немирно жил. Эх!..»

Между тем смерть не приходила, но и жизни не было. «Боже, прости и помилуй меня!» - так молился Матвей с каждым днём все сильнее и сильнее. Лицо совсем у него побелело, глаза лишь иногда приоткрывал, но и в них уже не было жизни, а только какой-то зеркальный блеск. Жена и дочь ходили по избе как тени, не зная, что делать. Тихо, тревожно в доме.

И вот однажды утром Матвей слабеющим голосом сказал жене: «Наталья, прости меня. Перед Богом молю...». Наталья всполошилась: сроду такого не бывало, чтобы муж прощения просил. А было за что просить прощения за долгую совместную жизнь. Она со слезами облегчения поцеловала его и тихо сказала: «Бог простит. И ты меня прости...». «Позови ко мне наших деревенских, кого укажу. Буду прощаться... перед многими я виноват».

Весь день шли односельчане к Матвею. Приходили те, кого когда-то обидел, обманул, обругал он в своей жизни. Шли с удивлением и недоумением, а уходили со светлым чувством облегчения за доброе слово прощания.

К вечеру, когда ему казалось, что он всех вспомнил, кого обидел, и готов уже был отдать Богу свою истомлённую душу, вдруг вспыхнуло ещё одно воспоминание. В те времена, когда не давали колхозникам участки под сенокос, а на трудодни выдавали так мало сена, что корову было не прокормить до весны, косили они тайно по глухим лесным

углам. И вот как-то наткнулся он в лесу на чей-то тайно накошенный стог сена и решил его увезти к себе на сеновал. Стыдно было, а увёз всё-таки, успокаивая себя: «Ворованное не грех взять, оно ничейное».

Корову удалось до весны докормить, а вот соседу Петру нет. Сена не хватило. Горько жаловался он Матвею: «И сено то было припасено в лесу, да какой-то нехристь украл его. Эх, горе!» В тот же год Пётр завербовался на заработки в леспромхозе, через какое-то время и семью забрал с собой. А соседский дом с тех пор пустует. Только летом приезжает с детьми дочка Петра на месяц. Тянет в родные края.

Вот этого Петра и вспомнил Матвей. Его прощения не хватало ему на краю уходящей жизни. Где-то он сейчас, жив ли? Спросил жену: «Дочка Петрова приехала нынче?» «Вчера приехала» - ответила она. «Спроси у неё, жив ли Пётр-то?» Наталия ушла, но скоро вернулась и рассказала, что дочка Петрова приехала, да и сам Пётр тоже приехал, обещал зайти вечером повидаться.

Вечер наступил, солнышко ласково заглядывало в окошко, а Матвей думал только одно: скоро его мучению придёт конец. Пришёл, наконец, Пётр. Едва различил Матвей в вошедшем знакомые черты бывшего своего соседа, Так он состарился и усох, но глаза ещё смотрели бодро.

«Здравствуй, Матвей! – сказал он с той неловкостью в голосе, которая появляется у человека здорового перед умирающим. «Здорово, Пётр. Вот и довелось свидеться. Ждал я тебя...» Пётр не мог выйти из оцепенения и не знал, что сказать. Помолчали. Наконец, Матвей едва слышно произнёс: «Прости меня друг. Больно виноват я перед тобой... Дело прошлое, а вот без твоего прощения и умереть не могу. Не думал, что всё в жизни так повернётся ... Прости ... Ведь это я украл твой стог, что ты накосил в последнее лето...» Пётр растерялся, ничего не понимая. Далеко в прошлое ушла его прежняя деревенская жизнь, о которой без слёз и не вспомнишь ведь. Да, тот роковой стог он помнил,

только никак не мог он сейчас связать между собой этот стог и умирающего соседа... Вмешалась Наталья: «Прости нас сосед, видишь, как он мучается!» «Да разве это теперь важно, чей был стог. Ведь всё это давно было! Прощаю, соседушка. И ты меня прости!»

Прошла минута молчания. Сосед встал, не желая мешать больному человеку, и пошёл к выходу. Но не успел он прикрыть за собой дверь, как раздался лёгкий вскрик Натальи. Матвей тихо умер.

ВЕТЕР

Сёстры Петровы сидели под окошком и пили чай. Вечер был тихий. Ничто не предвещало перемены тёплой ясной погоды. Закат золотил край неба за соседским двором. Старушки молчали. Неожиданно их внимание привлёк соседский парень, сегодня утром приехавший из города. Он выскочил из дома и заметался по двору, словно искал чего-то и не находил. Вид имел какой-то встревоженный.

– Чего-то Витька-то бегаёт туда-сюда? – сказала Паша.
– Али напился?

– Да, нет, - ответила Зина, - Марья жалилась только что – приехал какой-то дурной из города, места не находит, ревит даже, а трезвый.

Между тем Витька скрылся в бане. Прошло какое-то время – снова выскочил во двор, снова побегал туда-сюда. Потом сел у порога бани и поник головой.

Сёстры допили чай давно, но от окна не уходили. Что-то тянуло их посмотреть на соседний двор. Парень посидел минут десять, потом словно через силу встал и зашёл в баню. Сёстры долго сидели молча и чего-то ждали. Их тревожило чего-то тягостно-непонятное. Вдруг они вздрогнули обе – среди ясного тихого вечера внезапно подул сильный ветер. Он со свистом и воем закачал вершины тополей у бани, пригнул рябинку ... и так же внезапно исчез, как будто его и не было. Сёстры в испуге вскочили на ноги. Что случилось?!

Паша проговорила: «Не было бы беды! Пойдём скажем Марье, чтобы за парнем присмотрела!» Зина засомневалась: «А что сказать-то? Что в бане сидит. Так засмеют нас». К соседке решили не ходить, но растревоженные спать не могли. Всё сидели и смотрели в окно. Из бани никто не выходил. «Наконец, Паша не выдержала и решила: «Пойду всё-таки, скажу Марье...»

Когда она подошла к соседскому дому, то опять засомневалась и ещё постояла немного у крыльца. Наконец, решилась и постучала в запертые двери. Никто не открывал. Она постучала в окошко. Через некоторое время показалось удивлённое лицо Марьи. Она вышла на крылечко: «Что соседка случилось?» - сказала она неприветливо. Было видно, что она только что проснулась от тяжёлого сна и страшно испугана чем-то. Паша замялась, не зная что сказать. Марья продолжала на неё смотреть с тревогой. Наконец, решилась и начала издали: «Витька-то дома?» Соседка вздрогнула: «Дома. А что?» Паша окончательно решилась и тихо прошептала: «Так чего он в бане-то так долго сидит? Уже ночь!» «Как в бане?» – Марья оглянулась назад, - в кладовке спал с вечера».

Из дома вышел, муж Марьи, слепой Иван. Марья ни слова не говоря бросилась к бане, зашла в неё, а через минуту с криком выскочила назад.

Женщины опоздали. Спасти Витьку было уже нельзя. На следующий день приехала его жена, вызванная по телефону. Похоронили его на деревенском кладбище, на котором за время «демократии» появилась уже не одна могила самоубийцы.

* * *

А вышло всё из-за карт.

Виктор после армии жил в Череповце. Всё вроде бы хорошо было у него: и семья есть, и работа. Да пристрастился незаметно к пиву и друзей соответствующих – пивных, завёл. И опять же как-то незаметно появилась и ещё одна страсть – карты. А картёжная игра не доведёт до добра. Есть и другие

пословицы. Например: «Игра предатель, а кистень – друг», «Ограбили пятьдесят два разбойника», «Хоть выиграл ноги – есть на чём бежать».

Сначала играли в своём – «пивном» кругу. Но постепенно этот круг расширился, появились новые личности, напористые профессиональные картёжники. И закрутило, завертело мужика в безжалостных руках шулеров и блатных. И вот грянула страшная беда. В бесовском картёжном дурмане проиграл в карты своего слепого отца, а когда азарт прошёл, было уже поздно. Страшно стало. Без Бога душа как тряпка – ни силы, ни жизни. А совесть жжёт страшным полымем. Не выдержал – сам себя предал тьме. И погиб душой и телом.

В древнем псалме с болью сказано: «Вижу: беззакония моя превзыдоша главу мою...». Беда, беда бродит по Русской земле. Только покаяние очистит её и спасёт.

ИЛАРИОН

Стояла первая неделя Великого поста, в утреннем поезде Вологда - Череповец ехал в основном свой народ - вологодский: возвращались из города сельские жители, командированные, дачники, пожилые люди, решившие навестить своих родственников. Да мало ли деловых и родственных связей соединяет жителей Вологды и Череповца.

Поезд набирал скорость. Замелькали пригородные леса. Утопающие в снегах могучие ели навевали противоречивые чувства чего-то домашнего и сокровенного, близкого и родного - и одновременно сурового, далекого и отчужденно-враждебного. Вспомнились стихи:

Сусальным золотом горят
В лесах рождественские елки;

В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят.

- Мама, а волки живут в этом лесу? - неожиданно раздался тихий детский голосок. Светленький мальчик лет шести с грустными глазами сидел напротив меня и смотрел в окно. Его мать, высокая русоволосая женщина со спокойным и равнодушным лицом, ответила тихо: «Какие там волки, Иларион... Возьми лучше пирожок да поешь, ехать еще долго».

Я внутренне встrepенулась: «Иларион!» «Так зовут и моего внука. Имя-то очень редкое», - обращаюсь я к матери.

Завязался неторопливый и доброжелательный разговор. В него, правда, не включился папа Илариона - молодой плотный мужчина с наушниками, который, полуприкрыв глаза, то ли слушал музыку, то ли дремал.

Прошло часа два. Пригородный поезд шел не спеша, то и дело останавливаясь на очередной станции. Наши дружелюбные разговоры с Иларионом и его мамой были такими же неспешными, время от времени они непринужденно прерывались. И так бы ничего и не произошло, если бы новая реплика Илариона не повернула все наши отношения в иное русло. Она прозвучала как тихий взрыв...

Глядя на меня своими грустными и словно утомленными глазами, он неожиданно, без всякой связи с предыдущим сказал: «А мне почему-то иногда и жить не хочется!» Мать со скрытым раздражением торопливо ответила: «Не говори глупости!» «Он же снова повторил: «Я иногда не хочу жить!» После первой растерянности я спросила: «Иларион у вас крещеный?» Мать замаялась и как-то нехотя ответила: «Крещеный». «И крест носит?» - я позволила себе задавать такие вопросы, так как была очень встревожена словами мальчика и его дальнейшей судьбой. Столько уже пришлось читать и слышать в последнее время о детских самоубийствах! А ведь человек с крестом на шее

никогда не сможет совершить этого страшного поступка. Мать после недолгого раздумья доверительно мне сказала: «Мы принадлежим к христианской церкви, но крест не носим. У нас свои правила. Мы не посещаем православный храм».

И тут в который раз за дорогу я изумилась. Первый раз - когда услышала столь редкое, но такое родное имя - Иларион, и теперь, когда поняла, что такие близкие и понятные мне люди, земляки, живут какой-то иной, обособленной и чужой жизнью. Чужой не только для меня, но и для них. Ведь и земля-то родная, и предки-то у нас общие. Общая у нас история тысячелетнего русского православия, общее у нас и недавнее прошлое - семидесятилетие преследований и гонений на Православную Церковь, из которого она вышла живой и полной новых духовных сил, по молитвам своих святых, в земле Российской просиявших!

Изумление мое было особенно глубоким, потому что за два часа совместной дороги мы ни разу не почувствовали своей инородности. Поэтому от неожиданности у меня вырвалось: «Но ведь вы говорите о секте!» И тут начался второй акт нашей небольшой дорожной драмы. Мама Илариона и тут же проснувшийся папа начали возбужденными, громкими и растревоженными голосами кричать оскорбления в адрес православных священников и Церкви. Пассажиры в вагоне начали на нас оглядываться.

Мне стало горько, стыдно и, признаюсь, страшно. Собравшись с духом, я сделала сначала неудачную попытку перевести разговор в более спокойное русло, умирить своих земляков и себя. Я спросила тогда их о том, как же они поминают своих православных предков, дедов, прадедов? «А почему вы думаете, что мы их не поминаем?» - по-прежнему воинственно ответила мне женщина. «Тогда почему же не признаете наших православных святых? Ведь они тоже наши предки - наши духовные покровители и прародители? Вот вы назвали сына Иларионом. А ведь это имя в древнегреческом значило «тихий», «радостный», то есть

благодатный, и носили его многие наши православные монахи и святые, совершавшие свой духовный подвиг».

Я собиралась рассказать им еще о том, что гордостью Русской Церкви и русской культуры является митрополит Иларион, написавший знаменитое «Слово о Законе и Благодати», что он стал при Ярославе Мудром, в XI веке, первым русским митрополитом (раньше были только греческие), что в своем «Слове» он предвосхитил духовную судьбу русского народа, выразил священные глубины его души... Но мне не дали говорить. Снова начались крикливые оскорбления уже в адрес русских святых, особенно Александра Невского... Тогда на меня нашло отрезвление, горестное понимание, что далее хорошего ждать нечего. «Прекратим этот разговор, - сказала я твердо. - Если вы действительно считаете себя христианами, то не распинайте Христа своей злобой и клеветой. Опомнитесь!» Я встала и вышла в тамбур, постояла на холоде, так как лицо мое тоже, наверное, горело - от горечи и стыда за своих земляков. А сердце сжималось от жалости к тихому, но не радостному их сыну - Илариону...

Вернувшись назад, чтобы успокоиться и разрушить нависшее надо мной отчужденное молчание, решила про себя читать псалмы. Открыла молитвенник на 23-м псалме, начала читать, и, казалось, перевернутый мир снова встал на свое место: «Господня земля, и исполнение ея, вселенная и вси живущий на ней. Той на морях основал ю естъ и на реках уготовал ю естъ. Кто въздет на гору Господню? Или кто станет на месте святем Его? Неповинен рукама и чист сердцем, иже не прият всуе душу свою, и не клястся лестию искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога, Спаса своего...»

Как-то постепенно снова завязался разговор с мальчиком. Иларион остался в стороне от суеты предшествующего взрослого разговора. У него было тихое желание простого и искреннего общения со мной. Я начала разговор на географические темы (у моего внука отец

географ, поэтому он обожает подобные разговоры). Затеяли игру в названия городов и рек. Шестилетний ребенок знал немного, но очень хотел узнать. Тогда я начала его спрашивать и, если он затруднялся, сама вместо него отвечала. Спрашиваю: «На какой реке стоит твой родной Череповец?» «На реке», - был ответ. Не знал он, и какая самая большая река в России. Родители молчали и делали вид, что не замечают нашего оживленного разговора. Но когда я спросила мальчика, как называется самая большая река в Америке, папаша вдруг оживился и решил помочь сыну. Он поманил его к себе и что-то пошептал ему на ухо. Мальчик с победоносным видом вернулся назад и сообщил мне ответ: «Миссисипи!» Потом добавил задорно: «Когда я вырасту, я стану хоккеистом и уеду жить в Америку!»

О жалкие, безродные дети! Почему мы обречены узнавать сначала о чужом, не зная своего?! Или еще хуже - принимать свое за чужое, а чужое - за свое?!

Между тем приближался Череповец. Мои соседи засобирались. Им нужно было выходить на первой череповецкой остановке - в Заречье. Мимо вагона за окном замелькали кресты и памятники нового кладбища. Мальчик уже стоял одетый в проходе, готовый вместе с родителями к выходу. И тут он снова поразил меня. Опять неожиданно повернувшись ко мне, он доверительно сказал: «Здесь похоронена моя бабушка». Родители молчали, но их молчание было каким-то иным. А на меня словно повеяло стихами Н.Рубцова:

Тихая моя родина,
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.
Где тот погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу. –
Тихо ответили жители:
- Это на том берегу.

ЛЕПТА ВДОВЫ

Теплый июльский вечер. На фоне заката темнеют силуэты деревьев. После трудового дня на сенокосе и огородах притихла деревня. Тишина деревенского воздуха пропитана запахами сена, молока, навоза. Но слышнее всего аромат полей. Оттуда, с северо-востока, веет прохладой, цветущими и свежескошенными травами. Притихшие поля и перелески погружены в прозрачную синеву неба с молодым месяцем в вышине.

По деревенской дороге бредет худая, маленькая женщина: одежда с чужого плеча, небрежно заколотый узелок волос, а в руке корзинка, наполненная сочным зеленым луком. За ней вприпрыжку бежит мальчик, то останавливаясь, привлеченный каким-нибудь предметом – палочкой, стеклышком или собакой, то снова догоняя мать... Тихо на улице, только из некоторых домов слышатся чуждые этой тишине голоса и музыка из включенного телевизора.

Женщина подошла к одному из домов, зашла во двор, а затем на веранду. Там ее встретили хозяйка дома Людмила и старушка-соседка, Елена Ивановна. До появления гостьи женщины вели разговор о том, что «больно уж разбахвалились ныне по телевизору новые русские», по выражению Елены Ивановны. И там подарками всех осыпают, и тут миллионы предлагают. Одним словом – «спонсоры», по-змеиному свистящее так часто в эфире имя. Только уж больно громко кричат о своей доброте, благодетели. «Крик-от их каждый день до нас долетает, а вот добрые-то дела их где-то по дороге к нам застревают – не доходят до наших-то краев», - подводит итог старушка. Ее собеседница Людмила, которая в своем доме телевизора не держала, а по вечерам читала Евангелие, ответила: «Да, Елена Ивановна, согласна с вами – добро молча делают... И не кричат о своей доброте. Вот послушайте – прочитаю я вам из Евангелия, как Иисус Христос учил: «Остерегайтесь книжников, которые поедают дома вдов и лицемерно долго

молятся; они примут тем большее осуждение»». Елена Ивановна внимательно слушала, и Людмила продолжила чтение: «Взглянув же, Он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу; Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила; Ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела».

Старушка задумчиво вслушивалась в слова Евангелия. Она годами не бывала в церкви, так как в ближайших деревнях они давно разрушены теми «добрыми книжниками» двадцатого века, которые народу рай земной обещали. А теперь новые «добрые книжники» такие большие деньги за поездку на автобусе дерут, что до ближайшей церкви за шестьдесят километров не часто можешь съездить. Однако, несмотря на все это, церковную жизнь, православные обычаи она хорошо помнила и твердо соблюдала. Да и как не помнить! Разве можно забыть истоки жизни, детство, юность. Помнила она то, как в 30-е годы, ее, подростка, мать послала в далекую лесную деревню с мешком продуктов, тайно собранных односельчанами для местного священника, которого после закрытия храма изгнали со всей многочисленной семьей из дома и сослали в лесную глушь, подальше от крестьян. Помнила она, как везла она этот мешок на санках - «чунках» по-местному, как холодно ей было в плохонькой одежонке и старых валенках, как страшно одной в темном лесу. Но как радостно и тепло стало ей в маленькой дряхлой избушке батюшки Николая, где ее встретили ласково и с душевной благодарностью. Свет в душе остался от того дня. Но никому не рассказывала Ульяна Ивановна о том путешествии. Опасно в те времена было говорить о том, как голодающие в коллективизацию крестьяне из последних средств помогали погибающему семейству священника. Да и в голову не приходило хвастаться таким сокровенным... Да, Елена Ивановна понимала, о чем говорил Иисус Христос.

... Женщины сидели молча, глядя в синеющие на

востоке вечерние поля, на молодой месяц, вдыхали родной деревенских воздух и думали об одном и том же, как бы мысленно продолжая начатый разговор...

В это время на веранде появилась женщина с большой охапкой свежего лука в корзинке. «Здравствуйте», - сказала она, смущенно косясь на Елену Ивановну. Она не предполагала встретиться с ней здесь. А та, как и ожидалось, неприветливо ответила, прищулив глаза: «Ну, что Нинка! Опять попрошайничать пришла! Будет тебе пить-то! Пора делом каким заняться! Ох, тошнехонько на тебя смотреть», - добавила она, вставая. «А ты не потакай, пусть работать идет», - повернулась она к Людмиле и ушла, не столько рассерженная, сколько расстроенная.

Нину гнали отовсюду. Волею судьбы бродячего безродного человека, оказалась она в этой деревне недавно. Она не умела и не хотела работать, вместе с мужем пьянствовала, а когда он умер, не имея уже никакой поддержки, начала пропивать все, что еще было в доме. Но некоторые односельчане жалели ее, как больного безродного человека, и давали еду, поношенную одежду, когда она просила. Но их терпение уже кончалось. Так что суровые слова, сказанные Еленой Ивановной, были гласом народным.

Однако на этот раз мудрая Елена Ивановна ошиблась. Нина пришла не просить, а дарить. Она смущенно протянула Людмиле корзинку со свежим зеленым луком и сказала: " У тебя, я слышала, лук ныне не уродился, а семья вон какая собралась на лето в доме. Возьмите вот, ешьте. У меня лук хороший вырос, еще покойный Коля его сажал". Людмила растерялась от неожиданности. Она-то знала, что это последнее добро, которое осталось у Нины. Она попробовала категорически отказаться от неожиданного дара, потом предлагала деньги, но Нина неожиданно проявила характер: " Нет! Не обижай меня! Я от всего сердца хотела тебе что-то доброе сделать! Возьми Христа ради! Я ведь тоже живой человек".

Что-то перевернулось в душе. Людмила взяла лук. Напоила Нину с сыном чаем с пирогами. Расставались они у калитки. Уже стемнело, небо было наполнено прозрачным синим светом, а в вышине всюду сиял тонкий молодой месяц. Глядя на него, Людмила вспомнила прозвучавшие сегодня вечером в ее доме слова Иисуса Христа о лепте вдовы.

К калитке подошла соседка. Она уже все знала, что произошло в ее отсутствие. Она всегда удивляла Людмилу своей пронизательностью. Людмила смущенно проговорила: " Не она, а я теперь у нее в долгу. В Библии сказано: "Не суди превратно...и у вдовы не бери одежды в залог". А Елена Ивановна, следя глазами за уходящей вдали Ниной, с грустью и одновременно с каким-то облегчением ответила: " Тоже ведь живой человек".

НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА

Есть ли будущее у России? И где оно? Зайдите в любой детский дом, а их с каждым годом все более на Руси, посмотрите в глаза детям, и вы получите ответ.

Когда Елена заболела и поняла, что болезнь опасна, ее охватило вдруг странное желание разыскать Ваню, мальчика-сироту, утешить его какими-нибудь подарками. Ей казалось, что от этого зависит главный смысл ее оставшейся жизни. Чувство было сильным, как будто чей-то голос в душе повелевал: «Разыщи!»

Первичный приют для сирот, которых через некоторое время переправляли на постоянное место жительства в один из детских домов области, располагался в небольшом городке Кадникове. Она узнала, что Ваня живет сейчас там.

Елена шла по ровной дорожке, обсаженной фиолетовыми ирисами, по двору приюта, ее не покидало странное чувство, что она идет по кладбищу. Безутешно светило солнце, и безутешно цвели фиолетовые цветы как символ печальной памяти о когда-то живших.

Директор приюта и воспитатели встретили Елену приветливо. В их глазах она прочитала ожидание и надежду. Они не уставали надеяться, что вот придет добрая тетя или добрый дядя и вдруг пожелает признать в одном из сирот своего сыночка или доченьку, заберет домой. Елене было не по себе - она не могла оправдать их надежды, пришла всего лишь навестить мальчика, трагическая судьба которого не давала ей покоя.

С его покойными родителями она познакомилась несколько лет назад, когда ее семья купила дом в деревне под дачу. Дом стоял на пустыре, заброшенный и захламленный. Но довольно быстро удалось этот дом поправить, благодаря тем самым деревенским мужикам, которые, как известно, «до смерти работают, до полусмерти пьют». Выделялся среди них Николай, самый умелый и самый пьющий мужик. Когда и почему произошел роковой поворот в его судьбе?.. О своем прошлом он рассказывал много интересного. Но что было правдой? Что пьяной фантазией?.. По крайней мере, главная тема его воспоминаний - рассказ о том, как его ранили в Чехословакии в 1968 году, была достоверной, так как он получал ветеранскую пенсию. Все свое, хорошее и плохое, было в прошлом, а теперь он жил как бы не своей, а чужой жизнью. Жена Нина, несчастное существо, с детства познавшая лихо бродячей жизни и не умеющая жить по-крестьянски, была его спутницей в этом нынешнем его существовании. В ее неестественно худой фигурке странно сочетались облик старушки и девочки. На удивление себе и всей деревне она родила ему сына. Мальчик рос светлым, красивым, тихим. От его нежной младенческой головки исходил какой-то ангельский свет и озарял темное и убогое жилище его родителей.

В те времена семья не голодала благодаря золотым рукам Николая. Но вот произошел второй роковой поворот в его судьбе. Сначала ожили осколки, оставшиеся в его голове и ногах. Пришлось делать срочную операцию в Вологде. По-

следние силы жизни были подорваны, начался сплошной запой, а затем рак желудка.

После второй операции, став инвалидом и слушаясь строгого наказа врачей не пить и не работать тяжело, он продержался в трезвом и безработном состоянии месяца три-четыре. Но наступила весна. Соседи кругом начали пахать огороды, возить на них навоз, садить картошку. Не выдержал Николай, пошел в свой запущенный хлев и стал метать навоз. Когда картошка была посажена, его срочно увезли в больницу в Вологду, там сделали еще одну операцию, неизвестно зачем, без всякой надежды на выздоровление.

Когда через некоторое время сосед-дачник пришел его навестить в вологодской больнице, Николай лежал один в палате, и было видно, что доживает последние дни. Ни есть, ни пить он уже не мог, однако разговор поддержать еще был в состоянии. Первое, о чем он спросил: «Как там моя картошка? Окучили?» А звучал этот вопрос как: «Буду я жить, или конец?» Огород стоял, сиротливо зарастая травой. Однако сосед пожалел умирающего и ответил: «Окучили!»

Похоронили односельчане Николая на приветливом сельском кладбище, на холме у небольшой речушки, где вечно шумят сосны, летом золотится песок и поют птицы.

Через несколько дней после похорон к Елене, которая жила совсем в другом конце деревни, пришла Нина с растревоженным лицом: «Не знаю, что и делать! Николай по ночам по дому ходит, шумит, меня по-страшному ругает, материт. А за что, не поняла. Помоги!» Елена грустно пошутила: «Неужели не поняла, за что? За картошку заросшую». Потом, поколебавшись немного, она вынесла из другой комнаты маленькую иконку «Неопалимая купина» и крестик на шнурочке. Задумчиво сказала: «Знаю, что некрещеная. Но если веришь, надень крестик да поставь иконку в красный угол. Может, и утихомирят твоего Николая Богородица... Да твое покаяние». Прибежавший следом за матерью Ванюшка внимательно слушал и смотрел. Он ни-

когда не видел икон. Взяв в руки иконку и всматриваясь в образ Богородицы с Младенцем, он прошептал: «Мама! Как мы с тобой». Елена смутилась и уже хотела забрать икону назад. Но Нина умоляюще попросила: «Оставь нам». И вспомнила тогда Елена, что Спаситель говорил о заблудших: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии».

«Хорошо, - согласилась она и, обращаясь к Ване, пояснила ему и, видимо, самой себе: «Все мы в России под защитой Богородицы живем. Ее материнская любовь к нам - Неопалимая купина».

После смерти Николая Нина продержалась год с небольшим. Пенсия за мужа пропивалась мгновенно, в долг уже никто не давал, все вещи, даже диван, были проданы и пропиты. Ее маленькая фигурка еще более усохла и сгорбилась, а личико окончательно свело в какую-то горькую гримасу. Мальчик голодал, перебиваясь подаяниями односельчан. Все шло к роковому исходу. И он наступил.

Скорая помощь забрала Нину в районную больницу вместе с сыном. Там он провел несколько дней в одной палате с умирающей матерью. Наконец его отвезли в приют.

Стояла осень. Когда директор и воспитательница принимали исхудавшего до дистрофии шестилетнего ребенка, он сказал им: «Пора картошку копать. Уж все соседи выкопали. А матка в больницу завалилась! Как жить-то будем?!»

Все это узнала Елена, беседуя с директором приюта. Затем к ней вывели Ваню. Мальчик зашел в кабинет, робко ступая, словно шел над пропастью. Увидев Елену, он закрыл лицо руками и отвернулся в смятении. Видимо, неожиданное появление человека из той жизни, в которой еще были живы его родители, испугало его. Когда Елена обнимала и усаживала его рядом с собой, ей показалось, что в ее руках оказалась маленькая птичка, трепещущая от неизвестности. Она протянула ему привезенные подарки и сказала:

«Здравствуй, Ваня! Ты меня узнал?» Он еще крепче закрыл лицо руками и молча кивнул. «Ты поедешь ко мне домой?» - неожиданно для себя спросила она. Мальчик молчал. Зато директор радостно ответила на ее вопрос: «Мы в гости к хорошим людям всегда детей отпускаем. Пусть едет. Иди, собирайся, Ваня!»

Через минуту Ваня вернулся одетый, а в руках он держал маленькую иконку. Это была «Неопалимая купина».

«СНЕГ ЛЕТИТ НА ХРАМ СОФИИ...»

(Рождественская быль)

Ольга возвращалась из церкви после литургии и причастия. В глубине ее обновленной души еще звучали слова покаянного псалма: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отыми от мене».

Светло и радостно было этим зимним воскресным днем на заснеженных улицах Вологды. Ольге показалось, что и их обновленная душа звенела стихами Рубцова:

Вдоль по улице по узкой
Чистый мчится ветерок,
Красотою древнерусской
Обновился городок.
Снег летит на храм Софии,
На детей, а их не счастье.
Снег летит по всей России,
Словно радостная весть!

- ...Радостная весть! - изумилась Ольга. - А ведь радостная, точнее, благая весть - это по-древнегречески и есть Евангелие. Как удивительно едино и слитно все в этом Божьем мире: вологодская Софи/ и снег, летящий на нее, как

радостная весть, и Евангелие.

В душе ее снова зазвучали слова канона, обращенного к Богородице: «Исполни, Чистая, веселия сердце мое, Твою нетленную даючи радость, веселия родшая виновного...»

Вдруг что-то дрогнуло в сердце. Неожиданно к Ольге стремительно бросилась девочка лет 13-15. Рассеянным взглядом она заметила ее еще ранее, когда девочка шла навстречу каким-то странным, озабоченно-решительным шагом. Однако походка получалась какая-то неопределенно-блуждающая, как у заводной куклы. Лицо тоже было кукольное, слегка подкрашенное, но через все это просвечивал ореол нарождающейся новой прекрасной жизни. В ее блуждающем и одновременно напряженно-изучающем взгляде легко можно было прочесть хаотичный поток мелькающих мыслей: «Надо обязательно идти! Но куда?! Зачем?! К кому?!»

Итак, девочка стремительно подошла к Ольге и молча пошла рядом. Ее детские глаза уж слишком пронзительно, испытующе и с какой-то тайной надеждой всматривались в Ольгу. Девочку словно неведомой силой влекло к ней. После непродолжительного молчания она оживленно заговорила, как будто они давным-давно знакомы и только вчера расстались. Ольга от неожиданности и потрясения долго не прерывала речь своей спутницы. Такое впечатление произошло не только от того, о чем говорила девочка, но и как говорила. Слишком уж резким был происшедший с Ольгой столь стремительный переход из мира светлого благодатного покоя любви и всеобщей гармонии в темную бездну подлого насилия и ненависти, в котором пребывало это юное незащитное существо, смотревшее на нее с безнадежной надеждой.

Речь девочки (ее, как выяснилось потом, звали Светой) была похожа на внутренний монолог, обращенный к самой себе, но и к слушательнице тоже. Первая фраза девочки особенно потрясла Ольгу: «А меня наши девки одному мужчине за 5 тысяч продали... Так я ему наврала,

что мне еще и 15 лет нет. Он меня и отпустил. Добрым оказался, и деньги назад не потребовал, а то бы меня здорово избили бы наши».

Ольга не нашлась, что ответить, и ошеломленно молчала.

Света продолжала: «Боюсь что-то в интернат возвращаться, опять точно драка будет».

Смущенная, растревоженная Ольга наконец начала расспрашивать девочку и узнала, что в интернате материально ей живется хорошо, профессии хорошей учат - на швею. Только вот с детьми что-то происходит страшное - сплошные раздоры, драки, распущенность. Ольга верила и не верила диким рассказам ребенка. Потом спросила: «Как ты оказалась в интернате?» И опять ответ ребенка был ужасен и содержанием, и тем странным отчужденно-бесстрастным тоном, которым говорила девочка: «Жила наша семья в Белозерском районе. Плохо жила. А потом папка мамку топором зарубил. Младшую сестренку тетя к себе забрала, а нас с братом в интернат взяли. Только и здесь мне покоя нет, и здесь страшно жить...»

Ольга долго не могла продолжить разговор. Вылетели из души только что звучавшие в ней радостные слова благодарственных молитв, пересохли в сердце теплые слезы радостного умиления - все, все, чем только что была наполнена ее душа после сегодняшнего причастия. Уныния тяжелый грех сковал душу. Снежная белизна воскресения превратилась в снежную мглу хаоса.

А девочка снова продолжила-таки разговор, видимо, чувствуя родственное сострадание в молчании своей спутницы. Она вслух рассказала о довольно разнообразных и противоречивых своих намерениях. То она мечтала найти «пожилую тетеньку», как она выражалась, у которой она сможет спокойно жить вдали от своих нынешних друзей по несчастью. То со счастливым смехом намекала, что ее заберет к себе один ее дружок, когда закончит училище, и они поженятся. То предполагала, что ее тоже, как и сестричку,

возьмет к себе в семью тетя. Но сквозь все эти внешне деловитые слова сквозил томительный голос, как уже заметила Ольга, безнадежной надежды:

А где-то есть во мгле снегов
Могила мамы.
Там поле, небо и стога,
Хочу туда, о, километры!
Меня ведь свалят с ног снега,
Сведут с ума ночные ветры!
Но я смогу, но я смогу
По доброй воле
Пробить дорогу сквозь пургу
В зверином поле!..

Постепенно душа возвращалась назад, и Ольга поняла, что пришло время говорить ей, а Свете слушать. Конечно, если она в состоянии услышать ее.

- Светлана, ты в отчаянии, но я чувствую в тебе какую-то добрую волю, она выведет тебя на дорогу. Слушай, у каждого на земле есть своя единственная мать, твоя потеря невозполнима. Ты мечешься, ищешь родное существо всюду на земле. А оно - на небесах. Там наша единственная и всемирная Мать - наша Богородица, Дева Мария. Но она и на земле с нами всегда. Я, Света, сейчас возвращаюсь из церкви, там и ты бы нашла утешенье. Послушай, какую молитву Пресвятой Богородице поют верующие:

«Царица моя преблагая, надеждо моя Богородице, приятилице сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрывавши во веки веков. Аминь».

Света не понимала и половины слов молитвы, но

поняла главное. С лица сошли многочисленные наигранные гримасы, сменяющие друг друга, когда она вела разговор до этого. Лицо смягчилось и стало впервые грустным и простым.

С этого дня Света стала ходить с Ольгой в храм. А через год уже пела на клиросе.

Пресвятая Богородице, спаси нас!

Содержание

О Б Е Т.....	4
ВОСКРЕСЕНИЕ НА ШЕКСНЕ.....	23
УЛЬЯНА ИВАНОВНА.....	42
АННА.....	46
КРУШИНА.....	50
ТРОЕ.....	55
ПОСЛЕДНЕЕ «ПРОСТИ».....	58
ВЕТЕР.....	61
ИЛАРИОН.....	63
ЛЕПТА ВДОВЫ.....	68
НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА.....	71
«СНЕГ ЛЕТИТ НА ХРАМ СОФИИ...».....	75

